

ОТ АВТОРА РОМАНА "ЧАСЫ" (ПУЛИТЦЕРОВСКАЯ ПРЕМИЯ 1999 ГОДА)

**MICHAEL
CUNNINGHAM**

МАЙКЛ
КАННИНГЕМ
ПЛОТЬ
И КРОВЬ

CoRpus

**FLESH
AND
BLOOD**

Майкл Каннингем

Плоть и кровь

«Corpus (АСТ)»

1995

УДК 821.111(73)-31
ББК 84(4Сое)-44

Каннингем М.

Плоть и кровь / М. Каннингем — «Corpus (АСТ)», 1995

ISBN 978-5-17-118156-7

“Плоть и кровь” — один из лучших романов американца Майкла Каннингема, автора бестселлеров “Часы” и “Дом на краю света”. Это семейная сага, история, охватывающая целый век: начинается она в 1935 году и заканчивается в 2035-м. Первое поколение — грек Константин и его жена, итальянка Мэри — изо всех сил старается занять достойное положение в американском обществе, выбиться в средний класс. Их дети — красавица Сьюзен, талантливый Билли и дикарка Зои, выпорхнув из родного гнезда, выбирают иные жизненные пути. Они мучительно пытаются найти себя, гонятся за обманчивыми призраками многоликой любви, совершают отчаянные поступки, способные сломать их судьбы. А читатель следит за развитием событий, понимая, как хрупок и незащищен человек в этом мире.

УДК 821.111(73)-31

ББК 84(4Сое)-44

ISBN 978-5-17-118156-7

© Каннингем М., 1995

© Corpus (АСТ), 1995

Содержание

Слова благодарности	6
I. Балет автомобилей	7
Конец ознакомительного фрагмента.	66

Майкл Каннингем

Проть и кровь

Эта книга посвящается Донне Ли и Кристине Торсон

MICHAEL CUNNINGHAM
FLESH AND BLOOD

Художественное оформление и макет Андрея Бондаренко

© 1995 by Michael Cunningham

© С. Ильин, наследники, перевод на русский язык, 2010

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2019

© ООО «Издательство Аст», 2019

Издательство CORPUS ®

Слова благодарности

Я хотел бы поблагодарить Джоэля Коннaro, Кена Корбетта, Стейси Д'Эразмо, Стивена Кори Фридмана, Джонатана Галасси, Гейла Хочмана и Энни Рамси, каждый из которых читал эту книгу на разных этапах ее создания. Кроме них, огромную помощь оказали мне Эвелин Беркхалтер, Марсель Клементс, Дориан Кори, Энн Д'Алески, Пол Эли, Ник Флинн, Уильям Форленца, Деннис Гейгер, Ник Хьюми, Адам Мосс, Энджи Экстраваганца, да и все члены семьи Экстраваганца, в особенности Дэнни и Гектор. Я глубоко признателен Фонду Джона Саймона Гугенхайма за финансовую поддержку, а также Ларри Крамеру, который в одно не по сезону холодное утро подарил мне в парке Вашингтон-сквер название этой книги.

Однажды некий сильно рассерженный человек волок своего отца за ногу по его фруктовому саду. “Стой! – вскричал наконец стонающий старец. – Стой! Я никогда не заволакивал отца дальше вот этого дерева”.

Гертруда Стайн *Становление американцев*

I. Балет автомобилей

1935

Работая в огороде отца, восьмилетний Константин думал о собственном огороде, о квадрате гранита, припорошенного почвой, которую он тайком затащил на холм, возвышающийся над землей его семьи, а после соорудил на нем грядки. Сегодня он первым делом прополот отцовскую фасоль, потом поползал среди узловатых утолщений отцовской же лозы, привязывая норовившие вырваться на свободу усики к кольям грубой бурой веревкой, обладавшей, казалось ему, окраской и строением праведных, но обреченных на неудачу усилий. Когда отец говорил, что они “урабатываются до смерти, лишь бы остаться в живых”, воображению Константина рисовалась именно эта веревка, грубая, крепкая, блеклая, с выбившимися из нее наэлектризованными волосками, – она пыталась увязать в неуклюжий сверток весь мир, который этого ничуть не желает, да никогда увязанным и не останется, совершенно как виноградные лозы, упрямо рвущиеся к свободе, выбрасывая под странными, иступленными углами тянувшиеся к небу усики. То была его работа, одна из работ, – воспитывать лозу, и он давно уже проникся к ее необузданному упорству презрением и уважением сразу. У лозы имелась собственная тайная, запутанная жизнь, дремлющая воля, но если она нарушит заведенный порядок и отъединится от кольев, на орехи достанется ему, Константину. Безжалостный глаз отца умел отыскать дурную соломинку в целом стоге благих намерений.

Итак, работая, он думал о своем огороде, укрытом солнечным блеском на вершущке холма, о трех квадратных футах, до того бесполезных для определенного раз и навсегда отцовского будущего, что их отдали в игрушку Константину, самому младшему в семье. Слой почвы был там чуть выше четверти дюйма – да и не почвы, пыли, набившейся в трещинки покатою гранитной площадки, однако Константин собирался заставить ее плодоносить, подчинив себе эту землю решимостью и трудом, натиском воли. Он стянул у матери из кухни с десятков семян – тех, что прилипали к лезвию ножа или просто падали на пол и оставались не замеченными ею, как ни усердствовала она в попытках избежать греха расточительности. Огородик лежал на вершущке выжженного солнцем холма, никто туда не заглядывал; если семена дадут всходы, он сможет ухаживать за ними, никому об этом не говоря. Он подождет до времени, когда начнется сбор урожая, и однажды триумфально спустится вниз с кабачком, стручком перца, а то и помидором и пройдет осенними сумерками к дому, где мать будет накрывать стол для собравшихся ужинать отца и братьев. Чеканное золото неба встанет за его спиной. Свет неба ворвется, когда он распахнет дверь, в полумрак кухни. Отец, мать, братья, все уставятся на него, на недомерка, от которого ничего путного ждать не приходится. Стоя посреди виноградника и озирая раскинувшийся внизу мир – развалины фермы Папандреуса, оливковые рощи компании “Каламата”, далекое мерцание города, – Константин думал о том, как однажды он поднимется по скалам и увидит выпроставшиеся из клочка принадлежащей ему пыли зеленые побеги. Священник уверял, что усердие и слепая вера способны творить чудеса. Что же, вера у него была.

И усердие тоже. Каждый день, получив свою порцию воды, он половину ее выпивал, а половиной опрыскивал свои посевы. В этом ничего трудного не было, однако ему требовалась почва получше. Жаль, что мать сшила для него штаны без карманов, ведь о том, чтобы пронести две горсти земли из отцовского огорода мимо козьего загона и подняться с ними по горбатому склону холма, оставшись при этом никем не замеченным, нечего было и думать. Но он все-таки нашел один способ: в конце рабочего дня он наклонялся – якобы для того, чтобы привязать последнюю лозу к основанию кола, – и набивал землей рот. Привкус она имела пья-

нящий, навозный; чернота, облакавшая язык Константина, была и тошнотворной, и странно, опасно лакомой. Так, с полным ртом, он и поднимался по крутому уклону двора к скалам. Он почти ничем и не рисковал, даже если ему случалось проходить мимо отца или кого-то из братьев. Они привыкли к его молчанию. Считали, что он молчит просто по глупости. Он же молчал потому, что боялся сказать что-то не так, ошибиться. Мир состоял из ошибок, мир был их колючим клубком и никакими веревками, сколько хитроумных узлов ни навяжи, скрепить их так, чтобы они не лезли наружу, было невозможно. А наказание поджидало Константина за каждым углом. И потому умнее всего было помалкивать. Каждый вечер он в привычном для всех молчании проходил мимо братьев, еще возившихся с козами, и втягивал щеки, дабы никто не догадался, что у него набит рот. Пересекая двор и поднимаясь на холм, он изо всех сил старался не сглатывать, однако это неизменно случалось – грязь стекала в горло, наполняя его едкой чернотой своего вкуса. Почву здесь смешивали с козьим пометом, от которого на глаза Константина наворачивались слезы. И все-таки, добравшись до вершины, он выплевывал на ладонь приличных размеров катыш раскисшей земли. А потом торопливо, боясь, что кто-то из братьев увяжется за ним, чтобы его подразнить, размазывал пригоршню пропитанной слюной грязи по своему крошечному огороду. Он втирал эту землю в гранит и думал о матери, почти не глядевшей на него, потому что в жизни ее более чем хватало хлопотных дел, за исполнением коих ей полагалось приглядывать. Думал о том, как она приносит еду его прожорливым, горластым братьям. О том, как изменится ее лицо, когда он, собрав свой урожай, войдет вечером в дверь дома. Сначала он постоит в косом и пыльном луче света перед своей удивленной семьей. А после приблизится к столу и выложит на него то, что принес: стручок перца, кабачок, помидор.

1949

– Какая ночь, а? – сказала Мэри.

Константин не смог ответить. От ее храбрости и красоты, от самого присутствия рядом с ним этой бледной, стройной девушки у него перехватывало горло. Он сидел на покрывавшей скамье-качалке родителей Мэри и смотрел на нее, опирающуюся о перила веранды. Юбка льнула к ее ногам, ночной нью-джерсийский ветерок играл ее волосами.

– В такие ночи я становлюсь сама не своя, – продолжала она. – Ты посмотри на эти звезды. Так и хочется зачерпнуть их ладонями и высыпать тебе на голову.

– Ммм, – промычал Константин, надеясь, что этому сдавленному стону удастся выразить наслаждение, которое он испытывает.

Прошло почти уж полгода, а он все не мог поверить своему счастью. Не мог поверить, что встречается с такой изумительной американской девушкой. Теперь у него было две жизни, вторая – в ее голове. И едва ли не каждую минуту он испытывал страх, что Мэри поймет, как сильно она ошиблась.

– Ты замечательно выглядел бы, осыпанный звездами, – сказала она, однако по тону ее Константин понял, что эта тема ей уже наскучила.

Когда голос Мэри понижался, а руки лениво вспархивали к волосам, это означало, что разговор стал ей неинтересным, хоть она и могла продолжать его, не вслушиваясь в то, что говорит. Константин никогда еще не встречал человека такого стойкого и так легко впадающего в скуку.

Чтобы вернуть ее назад, он спрыгнул с качалки, подошел к перилам. И теперь смотрел вместе с Мэри на задний дворик ее родителей, на сарайчик, в котором ее отец держал инструменты, на безумную россыпь звезд.

– Если кто и выглядит замечательно, так это ты, – прошептал он.

– О, я ничего себе, – отозвалась, не взглянув на него, Мэри. Тон ее все еще оставался ленивым, сонным. – А вот ты – настоящий красавец и знаешь это. Одна девочка из школы на днях спросила, не боязно ли мне встречаться с таким красивым мужчиной. Она считает, что с нашими домашними увальнями как-то спокойней.

– Так я и есть домашний, – сказал он.

Вот тут она повернулась, чтобы взглянуть на него, и Константин удивился, увидев на ее щеках румянец гнева.

– Не жеманничай, – сказала она. – Мужчине это не к лицу.

Опять он сказал что-то не то. Он решил, что Мэри говорит о мужчинах, которым хочется обзавестись домом, семьей. Он неизменно старался выглядеть в ее глазах человеком, обладающим качествами, которые ей больше всего по душе.

– Я не... – начал он. – Я только хотел...

Она провела пальцами по его груди:

– Не обращай внимания. Я немного дерганая сегодня и не без причины. У меня от таких звезд всегда ум за разум заходит.

– Да, – сказал он. – Звезды очень красивые.

Мэри отняла пальцы от его груди, снова повернулась лицом к двору и начала наматывать на палец прядь своих волос. Константин смотрел на этот палец, томясь сжимавшим ему горло в комок желанием.

– Только зря они тратят свой свет на Ньюарк, – сказала Мэри. – Посмотри на них, сверкают что есть мочи. Грустно это, тебе не кажется?

Ньюарк Константину как раз и нравился. Нравилась его горделиво ухודившие в небо дымовые трубы, простая, домашняя понятность прямоугольных кирпичных зданий. Но он понимал: Мэри хочет услышать от него слова презрения к этим заурядным красотам, которые и полюбились-то ему лишь благодаря знакомству с ней.

– Грустно, – согласился он. – Да, это очень грустно.

– Ах, Кон, как я устала от... Не знаю. От всего.

– Устала от всего? – повторил он.

Мэри рассмеялась и в смехе этом Константин услышал отзвук издевки. Временами он говорил что-то, представлявшееся ей смешным, а почему, Константин понять был не способен. Ему нередко казалось, что самые простые утверждения его или вопросы словно доказывают справедливость какой-то горькой шутки, одной только Мэри и известной.

– Ну, от школы. Совершенно не понимаю, зачем мне история с геометрией. Я хочу работать, как ты.

– Работать в бригаде строителей? – удивился он.

– Да нет, глупыш. Но я же могла бы работать в офисе. Или в одежном магазине.

– Ты должна окончить школу.

– Не понимаю зачем. Учеба мне не дается.

– Тебе все дается, – ответил он. – Все, что ты делаешь.

Она намотала прядь на палец потуже. Опять рассердилась. Разве с ней заранее угадаешь? Временами лезть приходилась кстати. А временами Мэри отбрасывала ее, точно пригоршню камушков.

– Я знаю, ты считаешь меня совершенством, – низким голосом произнесла она. – Ну так я не такая. И тебе, и моему отцу пора бы понять это.

– Я понимаю, что ты не совершенна, – сказал он и сразу сообразил, что голос его звучит неправильно – неискренне, слишком молодо, с каким-то виноватым попискиванием. И поспешил добавить в него нотки пониже: – Просто я люблю тебя.

А это утверждение – оно тоже часть безмерной, недоступной его разумению шутки?

Похоже, что нет, – Мэри не засмеялась.

– Мы оба повторяем это и повторяем. – Она по-прежнему вглядывалась в двор. – Люблю, люблю, люблю. Откуда ты знаешь, Кон, что любишь меня?

– Я знаю любовь, – сказал он. – Я думаю о тебе. Все, что я делаю, – для тебя.

– А если я скажу, что иногда не вспоминаю о тебе по несколько часов?

Он не ответил. Какой-то зверек, кошка или опоссум, тихо рылся в одном из мусорных баков.

– Это не значит, что ты мне безразличен, – продолжала Мэри. – Безразличен, очень. Может быть, я просто пустышка. Но разве любовь не должна изменять все-все? А я остаюсь такой, какой была всегда. По-прежнему просыпаюсь утром и думаю: ну вот, нужно прожить еще один день.

Уши Константина наполнил отдающийся эхом океанский гул. Неужели сейчас это и произойдет? Неужели она скажет, что лучше им какое-то время не встречаться? И чтобы остановить время, наполнить чем-то воздух, он сказал:

– Я могу увезти тебя, куда ты захочешь. Сейчас я помощник бригадира, но скоро узнаю достаточно для того, чтобы получить другую работу.

Она повернула к нему посветлевшее лицо.

– Я хочу лучшей, чем эта, жизни, – сказала она. – Я не такая уж и жадная, честное слово, просто...

Взгляд ее оторвался от лица Константина, пробежался по веранде, на которой они стояли. И Константин увидел эту веранду глазами Мэри. Ржавая качалка, картонный ящик с молочными бутылками, глиняный горшочек с чахлой геранью. Константин сознавал, что внутри дома перемещаются ее родители и братья и у каждого множество собственных поводов для недовольства. Отец Мэри отравлен фабричной пылью. Мать живет среди руин красоты, которая, как она наверняка полагала когда-то, сможет перенести ее в другую, лучшую жизнь. Бездельник Джоуи, брат Мэри, все еще ищет, где лучше, повинувшись слепому инстинкту, – словно рыба, ищущая, где глубже.

Константин сжал ладошку Мэри в своей.

– Все будет, – сказал он. – Да. Все, чего ты хочешь, случится.

– Ты правда так думаешь?

– Да. Да, я в этом уверен.

Она закрыла глаза. В этот миг никакая шутка ему не грозила, и он понял, что может поцеловать Мэри.

1958

Мэри, соорудившая, следуя напечатанным в журнале указаниям, пасхальный торт, коему надлежало придать обличие кролика, вырезала хвост и уши зверька из желтоватого коржа, круглого и безмятежно невинного, точно луна в окошке детской. В работу эту она ушла с головой. Прикованные к тесту глаза потемнели, губы сжимали высунувшийся наружу кончик языка. Она вырезала одно совершенное по форме ухо и принялась за второе, когда в лодыжку ей ткнулась лбом Зои, ее младшенькая. Мэри ахнула и на втором ухе появилась округлая дырка размером с ноготь большого пальца.

– Черт, – прошептала она.

Прежде чем Зои налетела на нее, Мэри владело только одно желание: вырезать из свежеспеченного коржа безупречно симметричное ухо. И вся она была воплощением этого желания и ничем больше.

Она взглянула на Зои, сидевшую на корточках у ее ног, поскуливая и шлепая ладошками по крапчатому линолеуму. Что сейчас произойдет, Мэри знала. Зои того и гляди накроет с головой волна недовольства, из-под которой ее никакими утешениями не вытянешь. Зои была

самым странным на свете ребенком, запертой шкатулкой, и ни доброта, ни раздражение, ни лакомые кусочки проникнуть внутрь нее Мэри не позволяли. Понять Сьюзен и Билли было проще – они-то плакали только от голода или усталости. Даже при самых худших их вспышках недовольства они поглядывали на Мэри просительно, словно говоря: дай мне хоть что-нибудь, любой повод снова прийти в себя. Их легко было утешить игрушкой или пирожком. А Зои встречала свои несчастья с раскрытыми объятьями. Она могла на целый час, если не больше, распахнуться без сколько-нибудь понятной причины – к чему сейчас дело и шло. Мэри чувствовала приближение этой беды, точно так же, как мать самой Мэри чувствовала, если можно верить ее словам, приближение ненастной или ясной погоды. Чувствовала просто-напросто суставами. На разделочном столе перед Мэри были разложены коржи, кокосовая глазурь, мармеладки, лакричная стружка. Окинув все это взглядом, она опустила глаза на обозленное дитя, готовое вот-вот впасть в отчаяние – с чувственным, безнадежным наслаждением, с каким после очередного тяжелого дня падает в кровать взрослая женщина.

– Кон! – позвала Мэри.

– Да? – ответил он с заднего двора.

– Кон, тут малышка места себе не находит. Побудь с ней пару минут, пока я тут закончу, ладно?

Она ждала в тишине, растянувшись на три удара сердца, когда Кон с влажным хлопанием втянет в грудь воздух, пытаясь придумать причину для отказа. Ждала и наконец услышала:

– Ладно. Сейчас приду.

Мэри поправила неровно лежавший на пластиковой столешнице нож.

– Все хорошо, моя сладкая, – сказала она Зои. – Папа вынесет тебя во двор, ты поиграешь со Сьюзи и Билли. Ты слишком долго просидела в этих старых стенах, верно?

Константин со стуком распахнул затянутую железной сеткой дверь.

– Она тебе и вправду мешает?

Мэри, глубоко вздохнув, повернулась к нему. Постаралась, чтобы голос ее прозвучал весело.

– Привет, милый. Я тут тружусь над своим шедевром и, чтобы он получился, мне нужно немножко тишины и покоя. Так что будь ангелом, ладно?

И она, коснувшись пальцами волос, рассмеялась, негромко и смущенно. Теперь Мэри целиком отдалась демонстрации своих достойных качеств – как только что отдавалась изготовлению торта.

Константин чмокнул ее в щеку, погладил по плечу.

– А у тебя что-то не маленькое получается, верно? – сказал он.

– Большое-пребольшое, – радостно ответила Мэри.

Зои продолжала лупить ладошками по линолеуму. Константин обратился к ней:

– Ну что, поиграешь немножко с братиком и сестричкой? А? Хочешь поскандалить, пошли во двор, а мама пусть отдохнет, хорошо?

Он наклонился, чтобы подхватить малышку, а когда поднял ее на руки, Мэри ощутила дуновение его запаха: влажного, смешанного с ароматами дезодоранта и одеколона, которым он начал недавно пользоваться, – странноватое сочетание сладости и рассола.

– Ты святой, – сказала она.

Константин подбрасывал малышку на руках.

– Как у тебя дело-то подвигается?

– Хорошо, – ответила Мэри. – Просто отлично.

Она склонилась над тортом, заслонив его собою от мужа. И с удивлением поняла: ей почему-то не хочется, чтобы он увидел поврежденное ухо, – и ведь знает же, муж никакого повреждения не заметит, а и заметит, так сочтет пустяком.

– Сюрприз нам готовишь?

– Угум. Ладно, ребятки, вы идите, поиграйте.

– Хорошо. Пошли, Зо, посмотрим, до чего доигрались твои братик с сестричкой. Попробуем их малость вразумить.

Он ушел, унеся малышку, и неминуемый приступ нытья ее был, по крайней мере, на какое-то время отсрочен. Мэри подождала, когда, вздохнув, закроется дверь, а затем с облегчением, почти осязаемым – словно какие-то крошечные клапаны открылись в животе ее и в груди, – снова взялась за торт. Даром художницы не обладала, но считала себя способной понять артистическую натуру. Она знала, что такое сосредоточенность и настоящая, почти физическая потребность во времени, простом, ничем не замутненном времени, которое можно отдать работе. Иногда она не ложилась спать до глубокой ночи, потому что шила, или пекла, или вырезала что-нибудь из тыквы, или плела венки из сосновых веток. Однако времени ей вечно не хватало и денег тоже. Едва ли не каждый день, когда дети принимались вдруг плакать, ссориться, липнуть к ней, она чувствовала, что ей недостает дыхания, – казалось, что само неупорядоченное течение времени высасывает из нее воздух. Она пыталась, к примеру, завязать шнурки или еще раз перечесть любимую книжку, а на нее вдруг нападало головокружение или жуткая зевота. Сейчас, пока Константин и трое детей ждали, когда она закончит свою работу, Мэри могла наконец вздохнуть спокойно и вырезать из коржа второе кроличье ухо. Она подняла оба уха, приложила под заливчатскими углами к круглой кроличьей голове. Да, совсем как на картинке в журнале. А дырку на краешке уха можно будет заполнить глазурью.

Близилась сумерки. Тильные стены стоявших вплотную многоквартирных домов облил красочный свет, столь мирный, что даже этот скромный квартал города Элизабет казался одухотворенным и совершенно пустым, подобным священному городу мертвых. Косые лучи солнца ложились на аккуратные задние дворики, вытягивая длинные тени из детских качелей и алюминиевых лужаечных стульев. На одной из веранд уже зажгли лампу, бледно желтевшую на фоне тающей синевы неба, на трех лужайках включили брызгалки, и в холодеющем воздухе повисли арочные водяные бусы.

Что же, хотя бы до этих мест Константину добраться удалось. Он перешел в другую бригаду, стал получать в неделю немного больше и этих денег хватило на покупку домика с тремя спальнями наверху и мизерным задним двориком. Соседство тут было паршивое, все больше цветные с латиносами, однако в мгновения, подобные этому, даже дурное соседство порой представлялось частью большого замысла, устремленного в просторное, поместительное будущее.

Последний луч солнца скрылся, замеченный лишь Константином, за бумажной фабрикой. Сюзен сидела на земле, играя с Билли в сложную игру, ею же и придуманную, что-то такое с игральными костями, несколькими плюшевыми зверушками и крохотными пластмассовыми отелями, позаимствованными из “Монополии”. Внимание Билли то и дело убредало куда-то, и Сюзен, вспльчивой, что твоя нянька, приходилось возвращать его назад. Константин знал: скоро она в праведном негодовании отвесит брату оплеуху, ибо мальчишкой он был бестолковым, вечно на что-то отвлекался. Иногда Билли утрачивал всякую связь с реальностью и таранился в тупой зачарованности на какое-нибудь насекомое, опавший лист или просто пустое место, оказавшееся у него перед глазами. Константин с Зои на руках описывал по дворику круги, шепча ей всякую бессмыслицу – то был единственный известный ему способ успокоить дочь, когда ее одолевало непонятное недовольство. В недолгом приступе ностальгии Константин настоял на том, чтобы дочь назвали Зои, в честь его бабушки. И теперь жалел об этом. Мэри предпочитала имена американские: Джоан, Патриция. И теперь, когда обнаружилось, что нравом Зои обладает сумрачным, что ее одолевают не поддающиеся расшифровке

горести, Константин гадал, не обрек ли он дочь – всего лишь таким пустяком, как имя, – на жизнь чужестранки.

Солнце село окончательно, и он решил отправить старших детей под крышу, пока их ссора не набрала полную силу. Зои была беспокойна, но пока управляема. Если ему удастся вернуть всех в дом, они снова окажутся во владениях Мэри, с ее более четко очерченной властью умиротворять и править. И он сказал Сьюзен и Билли: “Пойдемте, дети, уже темнеет”. Они попросили дать им еще пять минут и получили отказ. Константин помог им собрать отельчики, согласившись на то, что они закончат игру в гостиной. И когда он загнал через заднюю дверь детей в кухню, Мэри подняла на них взгляд и удивленный, и досадливый. Она покрывала торт глазурью.

– Уже вернулись?

– Солнце село, – сказал Константин. – Там для них холодновато становится.

Мэри, зевнув, покивала, и возобновила работу. Константин прошел за Сьюзен и Билли в гостиную, опустил Зои на пол, отчего она сразу же заревела, помог в должном порядке расставить отельчики по зеленому ворсистому ковру, на котором они не столько стояли, сколько падали.

– Тут же невозможно играть, – заявила Сьюзен.

– Я вообще эту игру ненавижу, – прибавил Билли.

– Играйте, – сказал Константин. – И чтобы без ссор. Через пару минут будем ужинать.

Он снова взял Зои на руки, объяснил ей, что все хорошо, что она – его маленькая девочка, ангел, посланный небесами, но Зои продолжала реветь. И Константин понес ее на кухню.

– Ужин скоро? – спросил он.

– Ужин? – переспросила Мэри. – А что, уже больше шести?

– Шесть сорок пять. Ребятишки начинают капризничать.

Она снова зевнула и ухватилась за край стойки – так, точно линолеум поплыл у нее под ногами. Перед ней возвышался торт, очень похожий на кролика, с изображавшей мех белой кокосовой глазурью.

– Как красиво, – сказал Константин, подбрасывая на руках подвывающую дочку. – Посмотри, Зои. Посмотри, моя сладкая. Зайчик.

Мэри разгладила лопаточкой глазурь и смерила Константина холодным взглядом. Он опять совершил непонятную, непредсказуемую ошибку.

– Дети проголодались.

– В морозилке есть рыбные палочки и картофельные блинчики, – сказала Мэри. – Может, поможешь мне немного. Включишь духовку, достанешь что следует из морозилки. – И она, снова пройдясь лопаточкой по глазури, добавила: – Завтра Пасха, Константин. Приедет вся моя родня. У меня дел невпроворот.

Лицо Константина вспыхнуло. Нет, ссориться с ней он не будет. Он будет думать о любви, о планах на будущее, о скромном совершенстве вот этого торта. Он прижал к себе ревущую Зои, прошептал ей на ухо какую-то чепуху. И не произнес ни слова, включил духовку, достал из морозилки яркие пакетики, выложил их на кухонную стойку – так мягко, точно боялся, что они рассыплются. А после того, как дети поели и их уложили спать, стал помогать Мэри с заполнением стоявших на обеденном столе пасхальных корзиночек, сплетенных из рафии и стеблей лаванды, – ссыпал в них пригоршни зеленого пластмассового сена, а Мэри раскладывала по нему конфеты и маленькие игрушки.

– Мне еще нужно закончить малышкино пасхальное платье, – сказала она. – И яйца по дому попрыгать, чтобы дети их завтра искали.

– Да, – сказал он. – Конечно.

– Все так дорого, – вздохнула Мэри. – Ты даже не поверишь, если я скажу тебе, сколько все это стоит.

Константин натужно сглотнул, наполнил сеном еще одну корзиночку. Ну почему Мэри никак не может понять, откуда берутся их деньги? Она вышла на кухню, принесла кролика, поставила его на середину стола, окинула, склонив голову набок, критическим взглядом. Две круглых, красных мармеладины вместо глаз, черная овальная вместо носа и лакричные усы. На глаза Константина навернулись слезы. Чудо. Этого кролика вполне могла изготовить одна из пекарен, стоящих в центре города, – хоть та, огромная, белая, с поблескивающей черепицей, горами засахаренных фруктов на серебряных подносах и неприметными дымоходами, выдыхающими ароматы, густые и сладкие, как сама надежда.

– Надо было мне попросить Джоуи и Элеанор привезти что-нибудь, – сказала Мэри. – Они не намного беднее нас. Кон, ты бы подстилал на донышки корзинок газету, тогда не будет казаться, что мы поскупились на сено.

– Ладно.

Мэри снова вздохнула, и на этот раз вздох получился у нее затяжным, сухим и усталым, странно старческим для женщины двадцати шести лет.

– Вот и Пасха, – сказала она.

Константин кивнул. Американская Пасха. Греческой ждуть еще три недели – впрочем, он знал, что Мэри не любит упоминаний об этом. Она при всяком удобном случае говорила: “Мы американцы, Кон. *Америка*-нцы.” А мать Мэри, перебравшаяся, чтобы дети ее стали гражданами США, из Палермо в Нью-Джерси, что ни день поднимает на своем переднем дворе, бок о бок с пластмассовой скорбящей Мадонной, американский флаг.

– Я так устала, – продолжала Мэри. – Вроде бы и праздник, все должны веселиться, а я ничего, кроме усталости, не ощущаю.

– Ты слишком много работаешь, – сказал он. – Нужно и отдыхать хоть чуть-чуть.

– Я делаю то, что обязана делать, – ответила она. – Разве не так?

Корзинки были уже почти наполнены, когда в столовой вдруг появился Билли, одетый в пижаму с ковбоями. Мэри настояла на том, чтобы детские пижамки покупались в универсаме “Мейси”, сколько бы они там ни стоили. Босой Билли стоял в проеме двери, и, когда Мэри его увидела, на лице ее, отметил Константин, появилось выражение немой, улыбающейся паники. Скрыть от мальчишки корзинки никакой возможности не было. Константин услышал, как Мэри прерывисто втянула в себя воздух.

– Что такое, милый? – спросила она.

– Чего это вы тут делаете? – поинтересовался Билли.

– Да ничего, милый, – ответила Мэри. Она подошла к сыну, опустилась перед ним на колени, заслонив от него столовую. – Просто сидим. В чем дело? Приснилось что-нибудь?

Билли тянул шею, пытаясь заглянуть за плечо матери. Константин чувствовал, как в горле его образуется жесткий катышек гнева.

– Возвращайся в постель, – сказал он.

– А вон там что? – спросил Билли. – Наши пасхальные корзинки?

Константин очень старался не давать воли гневу. Это мой малыш, говорил он себе. Мой мальчик, он любознателен, только и всего. Однако другой голос, лишь отчасти принадлежавший ему, поносил неестественную малорослость мальчишки, его проявляющуюся все чаще склонность к нытью. Эти новые традиции, посещения дома боролатыми святыми, феями и кроликами, они так важны, так бесценны. Их следует оберегать, и как можно усерднее.

– Нет, милый, – веселым, тоненьким голосом ответила Мэри. – Понимаешь, к нам сюда забегал Пасхальный Кролик, да только он забыл кое-что с собой прихватить. У него так много дел этой ночью. Корзиночки-то он нам оставил, но велел до его возвращения никому их не показывать, ни в коем случае.

– А я хочу *посмотреть*, – сказал Билли, и катыш в горле Константина затвердел еще сильнее. Это его единственный сын. Ему пять лет, у него тощая шея и писклявый, просящий голос.

– Назад в постель, – велел Константин. Билли взглянул на него с выражением и трусливым, и непокорным сразу.

– *Я хочу посмотреть*, – повторил он, словно решив, что родители не поняли простоты и логичности его требования.

Константин встал. Страх, пронесшийся по лицу сына, лишь сильнее сдавил отцу горло. Мэри, положив ладони на костлявые плечи Билли, лепетала:

– Иди, мой сладкий. Тебе сейчас снится дурной сон, утром ты о нем и не вспомнишь.

– *Нет!* – взвизгнул Билли, и вот тут-то Константин на него и набросился. Он оторвал мальчишку от пола, попутно поразившись тому, как мало тот весит. Как мешок с хворостом.

– В постель, – приказал Константин. Быть может, он и совладал бы с собой – если бы Билли остался вызывающе непокорным. Но Билли заплакал, и Константин, еще не успевший решить, что ему делать, начал трясти мальчишку, повторяя:

– Заткнись. Заткнись и возвращайся в постель.

– Кон, перестань, – сказала Мэри. – Перестань. Дай его мне.

Голос ее доносился откуда-то издали. Константин в самозабвенном гневе, сознавая с яростной ясностью, что он творит, тряс и тряс Билли, пока лицо мальчика не исказилось и не расплылось перед его глазами.

– О господи, – пролепетала Мэри. – Перестань, Кон. Пожалуйста.

– В постель, – крикнул Константин. Он грубо опустил Билли на пол, и мальчик тут же упал – так, точно у него растаяли кости. Мэри бросилась к сыну, но Константин преградил ей дорогу. Он рывком поднял Билли и развернул его лицом к лестнице.

– Пшел! – рявкнул он и хлопнул сына по заду с силой, заставившей мальчика пробежаться, спотыкаясь, до середины гостиной, а там повалиться снова, подвивая, хватая ртом воздух. Константин, отпрянув назад, ударился бедром о стол, одно из раскрашенных Мэри яиц, прозрачно голубое, покатилося, вихляясь, по полированной столешнице. Мэри замерла. Он увидел упавшую на ее лицо тень. Потом она подбежала к Билли и прикрыла его своим телом. Яйцо помедлило на краю стола. И упало.

– Прекрати! – закричала Мэри. – Пожалуйста! Не трогай его.

Но Константин уже не владел собой, белая, сверкающая, великолепная пелена бешенства застилала его взор. Он упоенно сметал со стола корзинки. Мармеладки в разноцветных оболочках ударялись, точно камушки, в стены. Шоколадные овечки разбивались о пол, пластмассовые яйца с треском разламывались, рассыпая спрятанные в них дешевые безделушки. И наконец кулак Константина вонзился в торт. Рука его снова взвилась над тортом – над безжизненными останками торта, из которых лихо торчали уши. И замерла в воздухе. Он мог пробить кулаком эту белую, округлую мякоть. Мог рвать ее ладонью и запихивать в рот. Мог сожрать весь торт, размазывая по лицу и рубашке глазурь, и плакать при этом, моля полным ртом о прощении. Но он лишь медленно опустил руку и замер, глядя на торт. Потом развернулся, подошел к жене с сыном, опустился на колени.

– Не трогай меня, – всхлипнула Мэри. – Прошу, отойди от нас.

Он отошел, собрал корзинки, аккуратно расставил их по столешнице. Потом собрал и сено, и завернутые в фольгу яйца.

– Что с тобой происходит? – сдавленным голосом спросила Мэри.

– Не знаю, – ответил он. – Не знаю.

– То человек человеком, то вдруг...

Он уложил шоколадное яйцо на солому, вернулся к жене с сыном и снова опустился на колени. Билли, съжившись, прижимался к матери. Константин робко опустил ладонь на шею сына. В прихожей тикали часы.

– Пожалуйста, – произнес Константин, сам толком не зная, о чем просит. И добавил: – Я научусь. Все можно изменить.

Он обнял свободной рукой Мэри за плечи. Она не прижалась к нему и не отпрянула.

– Для тебя я готов на все, – сказал он.

И, не получив ответа, неуклюже поднялся на ноги, чтобы собрать с пола разбросанные сладости, вернуть цыпляток в солому, а сюрпризы в пластмассовые яйца.

– Замечательно вкусно, – сообщил, похлопывая себя по животу, брат Мэри, Джоуи.

Живот издавал плотные, мясистые звуки. И Мэри подумала вдруг о теле брата, о густых волосах на нем и кислых, едких жидкостях внутри. И перевела взгляд на жену Джоуи, Элеонор.

– Вот и отлично, – сказала Мэри. – Мы надеялись, что вам понравится.

Она добавила тарелку Джоуи к стопке остальных, которую держала в руках, обвела быстрым взглядом руины ужина. Еда была вполне приличная, только спаржа оказалась какой-то деревянной. И не стоило ей покупать эти желтые салфетки – в магазине они выглядели яркими, красивыми, а на столе обрели почему-то обличие тусклое, больничное. Легкие Мэри напряглись, она зевнула.

– Устала? – спросила ее мать. – Ты ведь столько сил потратила на этот ужин, верно?

– Нет, – раздраженно ответила Мэри. Лицо ее вспыхнуло, как если бы она попала на какой-то самовлюбленной нескромности. – Нет, ни капельки не устала. Просто – ну, праздник же. Сама знаешь.

– Знаю, – ответила мать.

Отец Мэри сидел рядом с матерью, сохраняя совершенное, словно бы глубоководное безмолвие. София, жена Эдди, встала, чтобы помочь Мэри убрать со стола. Она взяла тарелку Константина, и тот улыбнулся ей с ледяной сердечностью иноземного принца. Весь ужин он вел себя осмотрительно, общительно, иногда заливаясь смехом еще до конца рассказываемого кем-нибудь анекдота. К приходу гостей Константин надел темно-синий блейзер и галстук в полоску, подаренный ему Мэри на день рождения.

– Все получилось замечательно, милая, – сказал он. – Лучше не бывает.

Мэри улыбнулась и, попытавшись набрать полную грудь воздуха, ответила:

– Спасибо, радость моя.

В гостиной Билли и Сьюзен играли с сыновьями Джоуи и Элеонор.

– ...ну так и давай его сюда, – услышала Мэри чей-то голос. Чака, старшего. Думая о мелких ошибках, совершенных ею во время ужина, она ожидала ответа Билли.

– Нет, – послышался голос Сьюзен. – Не давай ему ничего. Он все сожрет.

– Ребятки! – окликнула их Мэри. – У вас там все хорошо?

Молчание.

– Билли! – позвала она. – Ты меня слышишь?

Билли тут же появился в двери, лицо у него было красное.

– Чакки хочет забрать моего пасхального цыпленка, – пожаловался он.

Мэри оглянулась на Элеонор. Та крикнула:

– Что ты там делаешь, Чак?

– Ничего, – брюзгливо отозвался Чак. – Играю.

Билли, глядя в пол с таким напряжением, точно ему вдруг удалось обнаружить некую вышитую на ковре таинственную надпись, сказал:

– Он мою овечку в рот засунул.

– Ну, ты же можешь поделиться с двоюродным братом, правда? – произнесла Мэри.

– Чак, – снова крикнула Элеонор. – Ты хорошо себя ведешь?

– Да, ма, – ответил Чак.

Билли оторвал взгляд от ковра и посмотрел на мать с выражением, в котором мешались надежда и страх. Он был в желтой курточке, которую Мэри приберегала к праздникам, и в пестром галстук-бабочке.

– Пойдем, лапушка, – сказала она – громче, чем хотела. – Поможешь мне со сладким.

Билли засеменил к ней.

– Чак его съесть хотел, – сообщил он.

– Ладно-ладно, надо делиться с другими, – сказала Мэри. – Пойдем, достанем вместе мороженое.

И она коснулась его волос. От них исходило легкое электрическое потрескивание, еле слышный гул его существования.

– Испортишь ты мальчишку, Мэри, – сказал Джоуи.

Она пожала плечами. Не забыв улыбнуться.

Младший ее брат, Эдди, предложил:

– А ты бы вернулся туда, Билл, и объяснил Чаку, что ты с ним сделаешь, если он будет есть твои сладости.

Глаза Билла наполнились слезами. Константин улыбнулся, Мэри положила ладонь на макушку сына. Ей до боли хотелось стиснуть пальцами прядь его волос и дернуть что есть сил.

– Мне потребуется его помощь, – резко сказала она Эдди. – Вперед, лапушка. Нам еще целое войско нужно накормить.

Она прошла с сыном на кухню. София уже успела включить в мойке воду.

– Ой, оставь ты это, – сказала ей Мэри.

София и Эдди не один год пытались обзавестись детьми. Она была женщиной пышной, добродушной, шла по жизни, неся свою неудачу с живой энергией и оптимизмом. Зачатые ею младенцы дорастали в ее чреве до определенной точки, но потом словно растворялись.

– Да я просто начать хотела, – сказала она.

– Знаешь что? – сказала Мэри. – Ты лучше отнеси туда десертные вилки, тарелки. Вон они, видишь?

– Да. Конечно. С удовольствием.

Мэри пошла за тортом в кладовку. Билли последовал за ней, маленькие, черные туфли его издавали, встречаясь с линолеумом, чистый резиновый скрип. У Мэри болело сердце.

– Вот он, – сказала Мэри. – Мой шедевр.

– Я устал, мам, – пожаловался Билли.

– Знаю, лапушка.

Она подняла блюдо с тортом. Ей казалось, что грудь ее стянута железными обручами.

– Ненавижу Чакки, – сказал Билл.

– Скоро все уедут, – ответила Мэри.

Билли поднял на мать полный немого страха взгляд, и ей показалось, что ее ударили кулаком в живот. Она стояла с тортом в руках посреди кухни. Безупречная глазурь его походила на только что выпавший снег. А Мэри всей душой ощущала ветреный хаос этого мира, его бесконечные опасности, и ей хотелось сказать сыну: “Я тоже устала. И тоже ненавижу Чакки.”

Ей хотелось отдать весь торт Билли, но хотелось при этом и не подпустить к нему сына раньше времени.

– Когда он уедет? – спросил Билли.

– Скоро, лапушка. После того, как съедят торт. Ну, пошли.

И она понесла торт в столовую. Билли последовал за ней.

– Па-па-пам, – пропела она, поднимая торт повыше.

Константин сказал:

– Вот сейчас увидите. Ей следовало в кондитеры податься, моей жене.

Мэри поставила торт в середине стола и отступила немного, скромно принимая общие хвалы. Торт и вправду выглядел идеально. Дырку в ухе кролика никто не заметил. Сьюзен, Чак и маленький Ол снова расселись за столом.

– Ну что же, приступим, – сказала, берясь за нож, Мэри. Кролик глядел чужаковатым щеголем, мордочка его несла самое подходящее для нынешнего праздника выражение кроткого изумления. Мэри казалось, что воздух вокруг нее сгустился, пронизанный странными блестками света. Билли жался к ее ноге.

– Так режь же, – сказал Джоуи. – Мы ждем. У всех уже слюнки текут.

– Мэри! – окликнул ее Константин. – Мэри!

– Ммм? О, простите.

Она взяла нож и, решительно улыбнувшись, вонзила его в торт.

1960

Когда поднялся крик, Билли и Кейт играли. Кейт бросила игральный кубик и потеряла ход, потому что ее дружок не успел вовремя заехать за ней. Кейт, толстенькая и нисколько не нервная, отнеслась к этому спокойно. Для нее главное было – выиграть. Потом кубик бросил Билли и был послан в машину отца, поправить чехлы на сиденьях. Игра происходила в его спальне, месте, как правило, безопасном.

И вдруг в щель под дверью проник подрагивавший от ярости голос отца:

– Как по-твоему, откуда берутся деньги, а? Мэри? Ты думаешь, мне известно тайное место, в котором они растут? Нет. Я такого места не знаю.

Кейт, склонившись над доской, сказала:

– Сейчас он ее убьет.

– Не убьет.

Мать Билли с ожесточенным терпением ответила:

– Деньги закончились, Константин. Потрачены. Так что не мешайся у меня под ногами, ладно? Я пытаюсь работать.

Судя по звукам, мать мыла на кухне пол. Ручка швабры то и дело ударялась о кухонные шкафчики и казалось, что это лошадь бьет копытами в стойле.

Кейт сказала:

– Если ты как-нибудь придешь из школы, а матери дома не будет, позвони в полицию и попроси их заглянуть в морозильник. Сам не заглядывай. Увидишь там мать, с ума сойдешь.

– Да заткнись ты, – ответил Билли.

У Кейт имелась целая система сложных, постоянно менявшихся правил. Она была самым близким другом Билли, на год старше. Пятеро ее братьев не ладили с законом, так что к шуму в доме она привыкла.

– Вот, значит, как у нас все устроено, да? – заорал отец Билли. – Вот так. Ты тратишь деньги, мне об этом не говоришь, а потом заявляешь: “Деньги закончились”. Такая у нас система. Верно?

– Чего ты хочешь, Кон? Чтобы я тебе заявки на бланках подавала? Чтобы спрашивала разрешения всякий раз, как кому-то из детей понадобятся новые трусы?

– Да хоть завали ты их трусами! Мы говорим об идиотской игрушечной обезьянке, которая обошлась нам в девять долларов и пятьдесят центов. Я прав? Или что-то пропустил?

– Конечно, прав. Ты у нас всегда прав.

Обезьянка развязно восседала сейчас на постели Билли, глядя перед собой яркими черными глазками, личико у нее был озадаченное, старческое, тельце густо покрывали пышные, шоколадных тонов завитки шерсти. Билли пошел с матерью в магазин, увидел там эту обе-

зьянку, а мать, заметив, что он смотрит на нее, сразу же ее и купила, не задав ему ни одного вопроса, словно подхваченная приливной волной его желаний. А ведь он даже не был уверен в том, что хочет получить обезьянку. Он хотел получить Барби, такую же, как у Сьюзен, однако матери захотелось, чтобы он захотел обезьянку, – пришлось подчиниться. И он ее получил.

Кейт сказала:

– Если человек увидел свою мать мертвой, он уже никогда от этого не оправится. Увидишь мать мертвой – и готово, спишишь и уже никто тебе не поможет.

Она бросила кубик, и ей выпало свидание с Бобом, ее любимчиком. Билли предпочитал Кена и Пойндекстера, хоть и считалось, что с Пойндекстером никто встречаться не жаждет. Билли нравилась карточка Пойндекстера, его оранжевые волосы и безобидные глазки.

– Да, Боб! – завопила Кейт.

– Чшш, – прошипел Билли. Когда отец был дома, Билли полагалось играть в другие игры.

– *Я люблю тебя*, Боб, – воскликнула Кейт и поцеловала карточку Боба.

– Да тише же ты, – попросил Билли.

– Мм-ммм, *Боб*, – не унималась Кейт.

Она даже высунула острый розовый язычок и лизнула карточку. Билли запустил в нее игральным кубиком. Кейт ответила ему тем же и попала в лоб, больно, – и Билли, сам того не желая, заявил, что при ее упитанности Кейт, чтобы добраться до школьной танцульки, и вправду потребуется помощь Боба и всей его родни. Она ушла, обливаясь гневными слезами, а Билли до самого вечера просидел в своей комнате, дождавшись окончания ссоры внизу, а заодно и звонка от добравшейся до дома Кейт. Я, сказала Кейт, еще похудею, а ты, как был дураком, так дураком и останешься.

Когда мать позвала его ужинать, Билли лежал на кровати, листая любимый комикс – старенький, подаренный матерью: про кошку, влюбившуюся в мыша, всей душой ее презиравшего. С каждым кирпичом, которым мыш запускал в голову кошки, любовь ее лишь укреплялась, пока наконец голова эта не окуталась вихрем сердечек и восклицательных знаков, самым страстей и страданий. Билли так обожал этот комикс, что вымолил у матери разрешение сохранить его и почти каждый день любовался большеносой кошкой, одурманенной любовью к гневливому тонкорукому мышу. Слова комикса мать перечитывала ему до тех пор, пока он не выучил их наизусть. “Игнац, душа моя. Люблю тебя миллион раз. Бац!” Чередование картинок волновало Билли, порождало в его груди непонятное шевеление. Он никогда не уставал следить за отношениями кошки и мыша, которые проходили через неизменную последовательность увечий и чистой, бездонной любви.

Спустившись вниз, Билли занял свое обычное место за столом и приступил к наблюдениям. Отец молчал. Ел он с разборчивой неохотой, не так, как всегда, – очень точно, совсем как закройщик, отрезая кусочек за кусочком. Обычно он, когда резал мясо, издавал тихий стон, как если бы нож вонзался в *его* тело. Билли поглядывал на руки отца, красные, со взбухшими венами, достаточно большие, чтобы ладони их целиком обхватили голову Билли. Он напомнил себе, что слишком уж глазеть на отца не следует, и занялся другими, менее опасными членами семьи. Зои поигрывала ложкой, вспыхивавшей, темневшей и снова вспыхивавшей под светом лампы. Лицо благонаравно восседавшей напротив Билли Сьюзен ничего решительно не выражало, однако он знал: все внимание сестры направлено на то, чтобы не позволить кусочкам одной лежавшей на ее тарелке еды соприкоснуться с кусочками другой.

Мать ела со спокойной старательностью. Питание было для нее еще одной задачей, которую следовало исполнять методически и до конца. Расправляясь с едой, она говорила, увлеченно и живо. Предметом разговора могло быть все что угодно. Покупать и готовить еду – это была ее работа, а еще одна состояла в том, чтобы наблюдать за происходящим на свете и осведомлять о нем членов своей семьи.

– Зашла сегодня в “Уидерманс”, – рассказывала она, – хотела купить кое-что и, представляете? У них там целая полка транзисторных приемников, а под ней плакатик: “Специальное предложение, три девяносто девять”. Я глазам своим не поверила. Решила, что они неисправные, ну и спрашиваю у Джевел, у которой сын в Перл-Харборе погиб. Говорю ей: “Джевел, что не так с этими приемниками?” А она отвечает: “Мэри, я понимаю, о чем вы подумали, но только с ними все в полном порядке. Просто они японские”. Похоже, японцы работают почти задаром, так что их приемники стоят немногим больше деталей, из которых они состоят, да денег, потраченных на доставку. Вы способны такое понять? Эти люди убили единственного сына Джевел, а теперь она продает их приемники по цене, которой ни одна американская компания позволить себе не может. И Джевел, похоже, об этом даже не задумывается, для нее это просто дешевые приемники, и все, ну я и сказала ей, что скорее уж американский куплю, пусть он стоит хоть в четыре раза дороже. И знаете что? Она посмотрела на меня так, точно я с ума спятила. Несчастная женщина, погубившая ноги за двадцать лет работы в “Уидермансе”, ее единственного сына убили японцы, а она не видит ничего плохого в том, что люди покупают эти приемники. Я даже задумалась, может, она вообще уже ничего не соображает. Мне кажется, что человек может сойти с ума и продолжать преспокойно исполнять свою работу, не каждый же сумасшедший заканчивает смиренной рубашкой. Вот пару дней назад, захожу я утром на рынок...

Билли, слушая мать, только диву давался. Вдохновение не покидало ее никогда. Темы ее речей плавно перетекали одна в другую. Семья Билли жила под звуки непрерывавшихся словоизлияний мамы, точно так же, как могла бы жить с переносным радиоприемником, передающим с раннего утра до полночь новости, музыку и пьесы на любой вкус, и высокий, и низкий. Широта неисчерпаемых интересов матери поражала воображение. Ее волновало и вымирание целых народов, и тоненькая икота воробья, издыхающего на наружной каменной полочке венецианского окна.

Отец Билли опустил на тарелку нож и поинтересовался:

– А чем так уж плох дешевый приемник?

Вопрос застал мать, уже перешедшую к другой теме, врасплох.

– Что? – спросила она.

– Дешевый приемник. Стоящий три девяносто девять. Чем он не хорош? И какая разница, кто его производит?

– Кон. Японцы...

– Про японцев я знаю. Думаешь, мне неизвестно, кто такие японцы? – И он указал на мать вилкой. – Война же закончилась, так? Давно уже. Теперь можно сесть в самолет и слетать в Японию. Можно отпуск там провести. Но *ты*, – он потряс вилкой, – ты скорее потратишь в четыре раза больше денег на приемник, собранный совершенно неизвестным тебе человеком в Филадельфии.

– Я же никакого приемника не купила, Кон, – сказала она. – И не собиралась даже.

– Нет. Ты покупаешь только игрушки, но зато уж по десять долларов.

– Кон...

– Вот такие-то взгляды нас и подводят, – сказал отец, глядя теперь уже на Билли и Сьюзен. – Они-то нас по миру и пустят. Мы платим втридорога за вещи, потому что нам не нравятся люди, которые делают точно такие же, но только дешевые. Мы же *Америка*-нцы. Нам дешевый японский приемник и не показывай. Мы хотим дорогой, американский. А игрушки... Ну! Зверушек нам подавай немецких. А обувь итальянскую, хоть она и в пять раз дороже американской. И наплевать нам на Гитлера с Муссолини. Но я вам так скажу, – теперь его вилка указывала на Билли. – Наши враги – не японцы. Наши враги – это люди, которые заставляют нас переплачивать. Вот и все. Все, что вам следует знать о друзьях и врагах.

– Ну правильно, – тихо, еле слышно сказала мать. – Именно этому их учить и следует. Как мило.

Она перешла на тоненький голос. Прибегая к нему, мама словно обращалась к кому-то, кто жил внутри нее, к незримому другу, целиком и полностью согласному с ней в том, что мир велик и прекрасен, но, в конечном счете, изматывает до смерти всех, кто его населяет.

После ужина Билли остался с отцом. Не слишком близко к нему. Отец сидел в кресле, смотрел телевизор. Билли играл со своими домашними животными на другом краю ковра. Он ускользнул в ничто, гудевшее за самым краешком всего сущего. Расставил в пластмассовом загоне свиней, нос к носу, и завел туда ржавой раскраски коня, никак не желавшего стоять на своих пластмассовых копытцах.

На кухне звенела тарелками и стаканами мать. Посуда повизгивала под полотенцем, и это было звучанием самой чистоты. Мать проходила по миру, сохраняя его в чистоте; отец повсюду оставлял следы. Куда бы он ни направился, путь его помечали волосы, крошки табака, влажные, едко пахнущие носки. В жару он, густо поросший волосом, раздевался до трусов, оставляя потный силуэт своего тела на обивке кресла. И хотя мать Билли мела полы, пылесосила ковры и чуть ли не соскоблила тряпкой для пыли всю полировку с мебели, но устранить свидетельства хозяйской вездесущности отца ей не удавалось.

Конь все падал и падал. Ну не желал он стоять, и Билли раз за разом поднимал его и ставил на ноги. Если постараться посильнее, если не сдаваться, конь наконец останется стоять, уступив напору его воли. Билли сгибал и разгибал ноги коня, пока одна из них вдруг не переломилась в колене, издав окончательный, хрусткий звук. Билли, не веря в случившееся, держал отломанную ногу в одной руке, а искалеченного коня в другой. Нога была тоненькая, изящная, с шедшим поперек копыта неровным заусенцем.

Билли опустил ногу на ковер, осторожно, словно боялся сделать ей больно. И, держа в руке трехногого коня, подошел к отцовскому креслу и замер рядом с ним, нервно подрагивая. Так он и стоял, пока отец не заметил его.

– Ну? – спросил отец.

Говорить Билли не мог. Сквозь тонкую ткань просторных серых брюк отца проступали очертания его сложно устроенных шишковатых колен. Поверхность бедер, широких, как корпус корабля, отражала свет, а сами они покрывали неровными тенями зеленые глубины кресла. Билли находился в личном пространстве отца, дышал кислыми корпускулами его пота и табака.

– Так что? – спросил отец.

Билли пожал плечами, отец сердито нахмурился:

– Говори же.

– Мне нужен новый конь, – наконец выдал Билли.

– Что?

– Этот конь сломался, – объяснил Билли и удивился, различив в своем голосе слезливую нотку. – У него нога отвалилась.

– А больше тебе ничего не нужно? – спросил отец.

– Он сломался, – повторил Билли.

Отец кивнул, он очень старался остаться спокойным и добрым.

– Твой конь все еще ничего себе, – сказал он. – Ну, помяли беднягу в бою. Но, главное, он здоров. Трех ног коню за глаза хватит.

– Нет, *не хватит*, – возразил Билли. Он понимал, что вот-вот заплачет, и понимал, что унизит себя, но ничего поделать не мог.

Отец шумно втянул в себя воздух.

– А если я тебе вместо коня футбольный мяч куплю? – спросил он. – Давай завтра сходим в “Айкз” и купим футбольный мяч, а? Как насчет этого?

Билли поколебался. Конечно, ему хотелось пойти утром с отцом в магазин, перепробовать все мячи, выбрать самый лучший. Но хотелось также получить и то, о чем он просил – маленького, мускулистого коня, исправного, способного стоять, как ему и положено.

– Я не хочу мяч, – ответил он, хоть это и было неправдой. Мяч Билли хотел. Он хотел всего.

Отец покачал головой.

– Ну тогда забудь об этом, – сказал он и повернулся к телевизору, на экране которого счастливая блондинка пела о чем-то, очень похожем на сыр, но намного лучшем.

Билли отдал бы все, лишь бы удержаться от слез, однако справиться с горем и возмущением было ему не под силу, и слезы взяли над ним верх, как, впрочем, и всегда. Плач был для него унижением. Он отвернулся от отца, не зная, куда теперь идти. Хорошо бы – в такое место, куда слезы за ним не увяжутся. Потом он вышел бы оттуда, сел бы рядом с отцом и стал смотреть телевизор, спокойно, не как сейчас, когда оба они недовольны и раздражены витающими вокруг звуками плача.

В комнату вошла мать Билли.

– Что тут у вас? – в руках она держала влажное кухонное полотенце, черные волосы ее блестели.

Билли, словно вынырнув из создаваемого им шума, беспомощно взглянул на нее.

– Твой сын хочет нового коня, – сказал отец. – Футбольный мяч ему не нужен. Я сказал, что куплю ему мяч, он не хочет. Он хочет нового игрушечного коня.

Билли уже ощущал себя испорченным, жадным, неблагодарным мальчишкой. Чем громче он ревел, тем сильнее становилось это ощущение, отчего он ревел еще громче. Если бы он мог, то ускользнул бы, как суслик, под землю и прорыл себе путь в Германию или в Японию – в любую страну, воздух которой он еще не успел замарать своими ничтожными желаниями.

Мама подошла к нему, присела на корточки. И с нею приблизились ее краски, решительное шуршание одежды.

– Что случилось с твоим конем, лапушка? – спросила она.

Билли не шелохнулся и ничего не сказал. Плач продолжался уже против его воли. Мама взяла из его ладони коня, оглядела полученное животным увечье.

– Не так уж и много он хочет, – прошептала она. А потом сказала погромче: – Он же *не просил* купить ему футбольный мяч, верно? Насколько я понимаю, он попросил купить пластмассового коня, который стоит десять центов и сделан здесь, в Соединенных Штатах Америки.

– У него этих животных миллион, – ответил отец. – Ему нужен миллион и еще одно?

– Господи, слышал бы ты себя со стороны.

– Он хочет американскую игрушку – я куплю ему мяч.

– Об этом мы после поговорим, – сказала мама. – Пойдем, Билли. Пойдем со мной на кухню, поможешь мне с тарелками.

Билли последовал за ней, ничего другого ему не оставалось, потому что он был себе не хозяин. Он чувствовал, как молчание отца давит ему на затылок. На кухне мама вытерла Билли нос испускавшим ее запах платочком.

– Завтра пойдем и купим тебе нового коня, – сказала она. – Ладно? Мало ли какие беды случаются. Ничего страшного не произошло. Мы просто купим нового коня. Хорошо?

Он закивал изо всех сил. Мама улыбнулась, очень довольная, и сказала, что он хороший мальчик, сокровище. Сказала, что он заслуживает самых лучших вещей, а если кто-то говорит иначе, так этот человек просто ничего не понимает. Билли смотрел на нее с благодарностью. Она улыбнулась ему заученной улыбкой, которую Билли видел тысячи раз: уголки губ чуть вздернулись, глаза закрылись – так, точно улыбка причинила ей острую, непереносимую боль. И что-то взволновалось в его груди – ощущение до того неприятное, что Билли испугался, как

бы его не стошнило. Мама была тем, кто все позволяет. Как же можно ее не любить? И он вдруг снова услышал хруст, который раздался, когда переломилась нога коня.

1963

Все произошло очень быстро. И произошло, во-первых, потому что Константин был греком, а во-вторых, потому что он надумал выпить в баре пива. Случившееся опрокинуло все, что он знал, как ему представлялось, о причинах и следствиях. В один влажный, пропитанный золотистым светом день – сразу после летнего солнцестояния, – он познакомился с человеком по фамилии Казанзакис, тощим мужчиной с золотыми пуговицами на блейзере. У Константина был обеденный перерыв, и он вспомнил о находившемся неподалеку от стройки баре, заполненном в этот час мужчинами, которые смотрели бейсбол. Большой экран черно-белого телевизора помаргивал над рядами подсвеченных бутылок. Сбоку от него висела реклама пива – фотография льдисто-синего горного озера. Константин сел на свободный табурет, рядом с Казанзакисом, который смотрел матч и грыз арахис с жадностью нимало не голодного человека, которому хочется не столько набить живот орешками, сколько увидеть дно занимаемой ими чашки. Между двумя подачами Константин и Казанзакис разговорились. Поболтали о бейсболе, потом о строительстве. Константин работал тогда десятником на уже завершившейся стройке. А Казанзакис был застройщиком, только-только приступившим к возведению состоявшихся из дешевых домов поселков – он называл их “населенными пунктами” – к северу и к западу от города. Они представились друг к другу, и каждый из них, услышав имя нового знакомого, сразу же назвал и место, в котором родился. Выяснилось, что дед и бабушка Казанзакиса жили в деревне, стоявшей меньше чем в тридцати милях от места, в котором родился Константин. Оба перешли на греческий. Оба расхохотались и потребовали еще пива. И к концу третьего периода Константин получил новую работу. Ему предстояло надзирать за строительством самого последнего из “населенных пунктов”, который был уже заложен на осушенном болоте, лежавшем в двадцати милях от города. Они обменялись рукопожатиями, заказали еще по пиву. Казанзакис тощей рукой обнял Константина за плечи и объявил на весь бар: “Эй, болельщики, представляю вам моего нового партнера. Он грек, человек, которому я могу доверять”.

Случайность, бросок игрального кубика. Работа, на которой последние пятнадцать лет горбатился Константин, не значила почти ничего, если не считать того, что она научила его разбираться в потолочных балках и оконных рамах. Константин разбогател только потому, что решил заглянуть во вторник после полудня в пивную.

Ну и потому, что был греком. И ведь сколько лет Мэри твердила: “Мы американцы, Кон. Америка-нцы”. А греческое счастье его, раз заработав, останавливаться уже не желало. Казанзакис оказался обладателем острого чутья на человеческие потребности, уверенного знания того, что именно люди хотят покупать. Дома обходились ему недорого, хоть он и приукрашивал их оградами из штaketника и ложными мансардами. И рекламировал шикарные особенности этих жилищ: наисовременнейшие бытовые приборы, комнаты для танцев, гаражи на две машины. Константин же знал, на чем можно неприметным образом сэкономить. Знал, где и как использовать невыдержанную древесину и пластиковые трубы; знал, сколько времени удастся сберечь, если не высверливать отверстия для дюбелей, на которых крепится проводка, а просто приколачивать ее молотком. Дома расходились почти с той же быстротой, с какой Казанзакис их строил. Константин, выросший в обстановке жесткой бережливости, ухитрялся держать накладные расходы на уровне до того низком, что Казанзакис нередко обнимал его и называл волшебником. Он и представить себе не мог, что строительство типовых домов может оказаться столь прибыльным.

Когда в семью потекли деньги, Мэри поверила в это не сразу. Теперь она могла наконец покупать детям красивые вещи, даром что дочери ее упорно отдавали предпочтение дешевым,

безвкусным. Сьюзен потребовались новые платья для Барби и игрушечная плита, в которой обычная электрическая лампочка выпекала из жидкого теста крошечные, похожие на коросту блины. Зои захотела получить деревянный строительный конструктор, игрушечное ружье и жалкую “енотовую” шапку с кисточкой, сделанную из крашеного кроличьего меха, чуть отдававшего мочой. Мэри купила им и это, и многое другое, надеясь, что дочери все же научатся когда-нибудь понимать, какой блеск сообщают жилищу вещи действительно качественные. Она покупала золотые браслеты, мохеровые свитера, шкатулочки для драгоценностей, открывая которые, видишь крошечную балерину, кружащуюся под звуки “Für Elise”¹. Эти подарки вызвали недолгий восторг, а затем впадали в немилость. Плиссированные платья неуважительно разбрасывались по полу. Импортные куклы забывались во дворе, и их нежные, ручной работы личики благосклонно улыбались струям дождя.

Из всех детей Мэри только Билли желал получить то, что желала дать ему она. Он был мечтательным мальчиком, приносившим домой библиотечные книги, находившим для себя укромные уголки, в которых ей ничего не стоило его отыскать. Она купила ему пальто из альпаковой шерсти, которое он надевал по воскресеньям в церковь, приобретая обличье миниатюрного, серьезного мужчины, отчего сердце Мэри омывалось волной любви. Нет, она любила всех своих детей, но Билли был единственным из них, кого она видела насквозь, до доньшка. Она покупала ему мягкие шотландские пуловеры с треугольным вырезом. Когда Билли пошел в школу, Мэри купила для него бордовый кожаный портфель и темно-зеленую шапку-ушанку. А для девочек обставила кукольный домик, стоявший сначала в комнате Сьюзен, а после у Зои. На затейливую мебель домика оседала пыль, в нем имелось самое настоящее, действительно работавшее освещение. Мэри раз за разом наводила в домике порядок, а временами, испытывая тайное наслаждение, переставляла в нем мебель.

1964

Сьюзен вела их по полю для гольфа. Прежде здесь тянулись один за другим огороженные пустыри, простиралась спортивная площадка, стояли вдоль улочки, от которой веяло гнилью, несколько домов да заброшенная фабрика с пробивавшейся между бетонными плитами кудрявой травой. А теперь – яркое зеленое поле. Над грудями опавших листьев поднимался дымок, и птицы снова и снова выпевали свое “Кии-кии-клара?”.

Сьюзен знала: отец создал все это для нее. Она была польщена и напугана.

– Идем, Билли, – строго позвала она брата.

Замечтавшийся Билли плелся футак в двадцати сзади, вороша теннисными туфлями листву.

– Иду, – ответил он.

Зои уже убежала вперед. Оглянувшись, Сьюзен увидела, как Билли неторопливо перебирает ногами, а палая листва, принимая его тень, то ярко окрашивает ее, то темнит. Гибельная красота брата пронзила ей грудь и резко сдавила легкие. Временами она воображала, как выносит Билли из горящего дома, как сбивает огонь, уже охвативший его одежду и волосы.

Да, она спасла бы его. А потом они вдвоем бежали бы в леса и жили там, вдали от большого, безупречного дома, который купил для нее отец. Где-то должны же быть леса.

– *Идем же,* – повторила она. Перед нею лежала ее собственная тень, иззубренная палой листвой.

– Что за спешка? – спросил Билли. – Мы же гуляем, так? И никуда не опаздываем.

– Я боюсь, что Зои заблудится, – сказала Сьюзен. – Бежит во все стороны сразу, я не могу ее остановить.

¹ “К Элизе” – фортепианная пьеса Людвиг ван Бетховена. (Здесь и далее прим. перев.)

– Не заблудится, – ответил Билли. – Вон она, впереди, на дерево лезет.

Повернувшись, Сьюзен увидела, как Зои, цепляясь за нижние ветви огромной сосны, продвигается по ним вверх. Сосновые иглы словно резали на кусочки одежду Зои, бледно-желтую рубашку и индиговые джинсы.

– Зои, прекрати, – закричала Сьюзен.

– Зачем же ей прекращать? – сказал Билли. – Хочет залезть на дерево, пусть залезет.

Сьюзен стояла между Билли и Зои и ощущение собственного многообещающего будущего понемногу покидало ее. Она ведь всегда была бы молодой, неприметной, отстаивающей правила поведения, которые никого другого, похоже, нисколько не волновали. А правила эти могли сделать жизнь такой простой. Они и требовали-то всего-ничего: каждому надлежит говорить негромко, но внятно, избегать драк и ходить не слишком быстро, но и не слишком медленно.

– Она же упадет, – сказала Сьюзен, хоть и верила, что Зои поднимается навстречу опасности, которой грозит ей не столько земля, сколько небо.

– Зои! – снова крикнула она. – Спускайся.

И тут же представила, как ловит на руки падающую сестру.

– Отсюда наш дом виден, – сказал Билли. – Смотри. Вон то белое пятнышко. Видишь?

Но Сьюзен уже направлялась к сосне.

– Зои, я серьезно говорю, – крикнула она.

– Теперь это наш дом, – продолжал Билли, хоть Сьюзен и отошла слишком далеко, чтобы услышать его. – Мы богаты. Вернее, полубогаты.

Подойдя к подножию сосны, Сьюзен замерла, упершись кулачками в бедра. Стоя на ровной траве, по которой косо тянулась ее тень, вглядываясь, сощурилась, в полог сосновых игл, она вполне могла быть юной прислужницей богини семейных распрей. Одета Сьюзен была в белую ветровку, розовые бриджи и короткие носки с рубчиками на пятках, не позволявшими носкам соскальзывать внутрь теннисных туфель.

– Зои, – крикнула она, – немедленно вниз!

Зои тем временем старалась забраться на раздвоенную ветвь, отходившую от ствола на высоте в тридцать примерно футов. Она не ответила, чего, собственно, Сьюзен и ожидала. Сьюзен вздохнула, и звук, получившийся у нее, ей понравился. Взрослый такой звук, свидетельствующий о серьезности ее намерений. Она провела в этих местах меньше месяца, а уже знала трех мальчиков, чьи глаза – карие, темно-карие и иссиня-зеленые – старались проникнуть во все подробности ее жизни.

Ей представилось, как мальчики крадут ее из нового дома и приводят сюда, на поле для гольфа. А она наставляет их, успокаивает, учит вести себя правильно.

– Я серьезно, – крикнула она еще раз.

И подумала мельком о том, как ее голос уходит отсюда своим путем, огибая стволы деревьев. Может быть, именно сейчас где-то неподалеку бродит мальчик с разбитым сердцем, заблудившийся среди деревьев и песочных бункеров.

Подошел и встал рядом с ней Билли. От него пахло – не сильно, но отчетливо – белильной известью и черствым хлебом, и Сьюзен погадала, часто ли он моется.

– Не слезет она, пока сама не захочет, – сказал он. – Ты же знаешь.

– Она себе шею сломает, – ответила Сьюзен. – А я обещала присматривать за ней.

– Я, пожалуй, тоже наверх залезу, – сказал Билли. – Оттуда наверняка весь город видать.

– Нет, Билли. Ты останешься здесь.

Однако он уже забрался на самую нижнюю ветвь и пополз, извиваясь, к развилке дерева. Сьюзен смотрела снизу, как тощий зад брата подрагивает под его саржевыми штанами, и гадала в который раз, какого рода девушке захочется, когда придет время, облегчить его боль.

– Биллиии, – закричала она. – Чтоб тебя!

Он поднимался быстро и вскоре уже подтянулся и сел на ветку, выросшую прямо под той, на которой устроилась Зои. Она сидела, подтянув к подбородку колено и ероша грязными пальчиками волосы.

– Привет, Зо, – немного запышливо произнес Билли.

Грубая кора расцарапала ему ладони, и теперь ветерок покусывал ссадины. Зои не ответила. Он вглядывался в нее, пока не убедился, что устроилась она надежно, а затем отвернулся, чтобы взглянуть сквозь сетку сосновых игл на Гарден-Сити.

– Если вы оба не спуститесь ровно за одну минуту, я поднимусь к вам, – крикнула снизу Сьюзен.

– И прекрасно, – ответил Билли.

Он хорошо различал отсюда координатную сетку ближайших к их новому дому улиц, красную и желтую листву выстроившихся вдоль них деревьев. Он увидел повисшего над птичьей кормушкой воробья, увидел расплывчатое коричневатое пятнышко, создаваемое в воздухе его трепещущими крыльями. За улицами бледнели в синей дали колокольни и кирпичные корпуса магазинов и банков.

– Нас могут видеть зверушки, – сказала Зои. – Они залезают сюда и смотрят на наш дом.

– Тебе от этого страшно? – спросил Билли.

– Нет. Мне нравится.

Она подергала себя за волосы, почесала коленку. Зои никогда ему этого не говорила, но Билли знал, что она и себя считает зверушкой. За столом она набрасывалась на еду, торопливо откусывая маленькие кусочки. А спала Зои в гнезде, которое сооружала из простынок и одеял.

– Вот здесь мы теперь и живем, – сказал Билли наполовину сестре, наполовину самому себе. – Теперь мы люди полубогатые и живем здесь.

Зои кивнула.

– Это королевство деревьев, – отозвалась она. – А тут у нас – коттедж, в котором живут люди.

– Мне немного боязно, – продолжал Билли. – Знаешь, новая школа и прочее. Тебе-то повезло, ты всего во втором классе учишься.

Зои наблюдала за тем, как через город проходит время. А Билли вдруг понял, что может разговаривать с ее зверушкой, рассказывать ей все то, чего никогда никому не рассказывал. Зои создавала вокруг себя узкую зеленую лошину, в которой он мог дышать одним воздухом с ней.

– Ну все, – крикнула Сьюзен, – я поднимаюсь.

– Наша няня, – сказал Билли.

Зои улыбнулась. Девочка она была жилистая, черноволосая, густобровая. И носила – сейчас, в октябре – резиновые пляжные шлепанцы.

– Как по-твоему, мы станем другими оттого, что разбогатели? – спросил Билли. – Это что-нибудь изменит?

– У нас еще остались два желания, – ответила Зои.

– Может изменить, – сказал Билли.

Он прислонился спиной к стволу, почувствовал как сосна слегка подрагивает от усилий поднимавшейся Сьюзен.

– Чтоб вы пропали, – донесся наконец снизу ее голос. – *Пропали*, оба. Я из-за вас штаны порвала.

– Посмотри, – сказал Билли. – Отсюда школа видна.

– Пора возвращаться, – сказала Сьюзен. – Время уже позднее.

– Рано, – ответил Билли, – думаю, пока там небезопасно. Дадим им, ну, скажем, еще полчаса.

– Да все там в порядке, – заявила Сьюзен. – Не понимаю, честное слово, почему ты из всего историю делаешь.

– Иди домой, – ответил он. – А мы немного побудем здесь. Может, шалаш построим.

– Тут шалаша строить нельзя. Это частная собственность.

– И переедем в него на жительство, Зои и я.

– Нет, правда, надо идти, – взмолилась Сьюзен. – Пойдем, наверное, и ужин уже готов.

– Так иди, – повторил Билли. – А мы с Зо побудем здесь.

– И пойду. Будь уверен.

Однако она осталась сидеть на ветке. Белка, скакавшая под деревом, привстала на задние лапки и вдруг исчезла, словно ее рывком утянули под землю. Сьюзен оторвала взгляд от земли, взглянула на дом, который построил для нее отец. Сьюзен знала, как она выглядит: тонкая, стройная четырнадцатилетняя девочка, сидящая верхом на ветке, вдыхая аромат палых листьев. Она хотела, чтобы у нее был собственный дом, хотела жить в нем, молчаливая и безудержная, как юная мать-дикарка. Тени облаков плыли по ровной земле. Одно из деревьев словно погасло, и сразу же вспыхнула, точно поднятая со дна океана огромная драгоценность, медная кровля колокольни. И наблюдая за сменой теней, Сьюзен на недолгий миг осознала, насколько она всеильна. Осознала, сколь многое можно построить ради нее и сколь многое разрушить. Волна возбуждения окатила ее. Она думала о прорванной плотине. О серебристой стене воды, падающей на магазины, на церкви, на аккуратные улицы. Она словно видела это. Видела, как вода поглощает все, разбивает окна, срывает крыши домов, кружит самые обычные вещи – чашку, парик, кусок мыла, – выбрасывает их на поверхность и снова втягивает в себя. Видела, как вода, пенясь, поднимается все выше и, наконец, останавливается на середине их сосны, прямо под веткой, на которой она сидит. Уцелеют только она, Зои и Билли. Потом наступит коричневатое, поблескивающее безмолвие. Над ним будет возвышаться лишь колокольня с верхней половинкой остановившихся часов да верхушки нескольких дубов и вязов. Стаи гусей и уток станут садиться на воду. И понемногу вода начнет отступать, оставляя на ветках кольца и ожерелья. Она, Сьюзен, поведет Зои и Билли вниз, в мокрый пустой мир, украшая себя, пока они, теперь уже сироты, кроткие и горестные, станут спускаться с ветки на ветку, глядя в будущее, в котором может случиться все что угодно. И на землю она сосутпит обвешанной драгоценностями.

1965

Отправляясь в свои ночные поездки, Константин воображал, что рядом с ним сидит Мэри. Не та, с которой он теперь жил, но Мэри семнадцатилетняя, загадочная девушка, проворно задвигавшая за собой щеколду калитки. Мэри, которой удавалось сочетать здравомыслие с не замаранными ничем женскими надеждами. Которая еще не начала подсчитывать его изъяны. Он по-прежнему любил ту Мэри, любил то, что от нее уцелело – самообладание, преданность порядку, прямизну осанки. И в ночных поездках спутницей его была молодая Мэри, иногда мешавшаяся в его сознании со Сьюзен. Уменьшая девушка, сидевшая надежно пристегнутой на пассажирском сиденье, вглядываясь в пейзаж – скептически, но и со взыскательной любовью.

Он показывал ей свою стройку, ряды и ряды домов, целый городок, выдержанный в мягких тонах и в простых, спокойных формах. Иногда он останавливал машину на одной из улиц и позволял себе посидеть, откинувшись на бордовый плюш “бьюика” и впитывая окружающее. Весь этот городок построен им и Казанзакисом. И теперь кровли *его* домов определяли линию горизонта, их окна лили в сумерки свет. В такие ночи Константин ощущал себя действительно добившимся многого человеком.

Городок был само совершенство – чистенький, опрятный. Дома Константина повторялись тройками. Первый – с остроконечной кровлей; второй – с небольшой верандой; третий, он нравился Константину больше всех, – с парой эркерных окон, аккуратных и симметричных, как груди девушки. Дома поднимались в небо, следуя сдержанному ритму, и Константин неизменно удивлялся тому, что действительно создал их. Дни его состояли из мелочей и препирательств. “Да говорю же тебе, Джерри, никаким войлоком выстилать изнутри кровлю мы не будем. И кто велел тебе закупить этот дурацкий камень? Канализационные трубы можно и землей засыпать.” Только в такие ночи, во время поездок, он до конца понимал: дома стоят здесь потому, что это он купил товарный вагон гипсокартона, пять тысяч рулонов изоляционного материала, сосновые доски, на которые пошел целый лес. Иногда Константин выбирал какой-нибудь дом и наблюдал за ним, с разумного расстояния, разумеется. Курил сигарету за сигаретой и смотрел, как освещаются или темнеют окна, как в дом впускают лающую у двери собаку. В некоторые ночи у выбранного им дома останавливалась машина, и из нее вылезал подросток; в другие из другого дома выходили, чтобы полить лужайку, мужчина и женщина. А как-то вышел и простоял на лужайке, пока в небе не угас последний свет и не проглянули звезды, крепкого сложения мужчина в свободных брюках из зеленой шотландки. Константин наблюдал за ним, пока мужчина не вернулся в дом – из тех, что с остроконечной крышей, обошедшийся его хозяину хорошо если в пятую часть того, что Константин заплатил за свой собственный. На краткий срок он проникся к этому мужику любовью и состраданием. Мужик вполне мог быть его младшим братом – или старшим сыном. Константин не очень-то понимал, зачем приезжает сюда, что хочет увидеть. Он не мог бы сказать, почему раз или два в месяц обращается, уходя с работы, в соглядатая. И каждый раз воображает, что рядом с ним сидит молодая Мэри или кто-то похожий на нее, как воображает и жизнь, идущую за стенами домов. Когда он снова включал двигатель и направлял машину к своему дому, им овладевал хаос томительных желаний. Слишком часто он себе такие поездки не позволял – раз в месяц, самое большее два. Он твердил себе, что просто хочет посмотреть, как живет его городок, не отстать от этой жизни. Он видел девушку, сидевшую на бордюрном камне, ожидая кого-то, так и не появившегося. Видел украшенную оранжевыми полосками кошку, поймавшую дрозда, и видел, как трепетная жизнь выпорхнула из тельца птицы с быстротой взлетающего в небо воздушного шарика. Слышал разговоры и музыку, а однажды различил, так ему показалось, крики двух любивших друг дружку людей. И домой он ехал полный возвышенных, словно бы арочных, почти болезненных в их силе надежд. Он построил для своей семьи крепкий новый дом, занявший целый акр. Он дал ей два настоящих камина, тридцать восемь окон и парадную дверь с резными деревянными колоннами по бокам, белыми и желобчатыми, как свадебные торты. Нажимая на кнопку пульта, управлявшего дверьми гаража, он сознавал, что над головой его висят созвездия – Орион, Овен, Большая Медведица, – а за спиной тянется федеральная автострада, по которой и сейчас катят к определенным для них местам гвозди, продукты, ботинки и тракторы. Сознавал, что под землей раскинулась сеть труб, по которым течет сквозь мир норных животных и древесных корней вода. И когда двери гаража разъезжались на роликах, оттягиваемые намасленными цепями, он прощался с обычными тревожными мыслями и попадал в царство блаженства. Объяснить это ощущение он не мог. Ощущение неотвратимости, титанических плит, сдвигавшихся в ночном небе, меняясь местами во исполнение плана, слишком простого, чтобы его смог постичь человек. Наполненный счастьем, Константин заводил машину в гараж. Здесь в совершенном порядке висели на колышках белой доски его инструменты. Здесь размещались его газонокосилка, его тиски, его шурупы и штифтики, разложенные по банкам с ярлычками. Сегодня он позволил себе посидеть с минуту в прохладном безмолвии машины. А потом прошел боковой дверью на кухню, где Мэри держала теплым его ужин. На холодильнике красовались старые рисунки Билли и Зои, прикрепленные магнитиками-фруктами. Пластмассовое яблоко, апельсин, банан.

– Привет, – сказала Мэри.

Она составляла какой-то список. Красные брюки, серая трикотажная рубашка.

– Привет, – ответил он.

И едва Константин успел произнести эти два слога, как все его блаженство испарилось. Что-то в доме было не так. Что-то принижало его, хоть он и зарабатывал хорошие деньги, читл данный им брачный обет, кормил и одевал своих детей.

– Как прошел день? – спросила, не отрываясь от списка, Мэри.

Если она бралась за какое-то дело, все прочее для нее существовать переставало. Черные волосы, собранные сзади в тугой узел.

– Хорошо, – ответил он. – Какой тут запах приятный.

– Свиные отбивные, – сказала Мэри. – С картофельным пюре. Ты голоден?

– Да. До ужаса. Чем занимаешься?

– А, это просто список всего, что нужно купить ко дню рождения Зои. Сама не верю, что пригласила провести у нас ночь целых восемь девчонок.

Он кивнул, ему почти удалось снова поймать за хвост чистое, сводчатое блаженство, испытанное им в гараже. Миловидная жена, дубовые шкафчики, свинина с картошкой, ожидающая его в горячей духовке. Он стремился к прочному, устойчивому счастью, которое продолжается час за часом, а не налетает буйными приступами в неурочные, одинокие, как правило, мгновения. Он так много работает. Временами ему казалось, что если он будет произносить те слова, какие произносят все счастливые люди, то и к нему вернется счастье. И он, схватив счастье за незримые крылья, крепко прижмет его к груди.

– А дети где? – весело спросил он.

– У Сьюзен балетный класс. Билли с Зои наверху, предположительно делают уроки. Ты сегодня запозднил.

– Да. Чертова пропасть работы.

– Знаю. Здесь ее тоже чертова пропасть.

Константин кашлянул, вытер тылом ладони губы.

– Я что-то не слышу жалоб на нехватку денег, – сказал он.

– Ты нынче в приподнятом настроении, – отозвалась она.

Список все разрастался. Карандаш Мэри держала с гневной чопорностью. Константин боялся ее, чем-то рассерженную, полную сознания своей правоты. Составляющую список, который высекут на граните его надгробья.

– Просто умаялся на работе, – сказал он. – И питаю надежду на то, что мне время от времени будут говорить спасибо, вот и все.

Она что-то добавила к списку. Карандаш царапнул бумагу.

– Я тоже работаю, – сказала она. – Собственно говоря, прямо сейчас и работаю.

Ему показалось, что кухня начала разрастаться. А он умаялся в ней – мизерный человек, стоявший, оголодав, на желтом линолеуме. Он включил в духовке свет, взглянул сквозь тонированное окошко на керамические кастрюльки с едой.

– Так как насчет ужина? – спросил он. Голос его снова звучал весело. Голос счастливого мужчины.

– Кон, ужин перед тобой. Я могу подать его тебе за минуту. А если ты хочешь получить его сию же секунду, так пожалуйста, – духовку ты ведь открывать не разучился, так?

– Так, – ответил он.

И, взяв подставку для горячего, извлек из духовки кастрюльки, поставил их на разделочную стойку, снял с них запотевшие стеклянные крышки.

– Выглядит здорово, – сказал он.

– Молоко. Питье, картофельные чипсы, зефир. Подарочки. Может быть, флакончики духов. Хотя не знаю. Пожалуй, для духов они еще маловаты.

Константин достал из буфета тарелку. И как раз зачерпывал ложкой пюре, когда в кухню вошел Билли.

– Здравствуй, – сказал Билли.

В двенадцать он оставался таким же тощим, как в пять. Под его молочно-белой кожей проступали узлы и рычаги костяка. Лицо – с большей резкостью очерченный вариант лица Константина – несло выражение скрытности.

– Привет, – откликнулся Константин.

Билли подошел к холодильнику, достал бутылочку кока-колы. У Константина сдавило горло – судорога собственника. Это моя кока, думал он, это я за нее заплатил.

– Чем занимаешься? – спросил он.

– Да ничем, – ответил Билли. – Географию учу.

– Географию, – Константин сжал в кулаке ложку. Почему он никак не может полюбить сына? Чего ему не хватает? “Говори, – мысленно приказал он. – Расскажи мне про географию”.

– И что вам задали по географии? – спросил он и, положив ложку, ткнул вилкой в отбивную.

Покажи мне, какое место ты занимаешь на карте мира. Мальчишка, который все время о чем-то думает, живет книгами. Который не желает запоминать названия инструментов и равнодушен к играм на открытом воздухе.

Билли пожал плечами. Он открыл коку, та зашипела.

– Латинскую Америку, – ответил он. – Основные предметы импорта и экспорта.

– Ну да, – сказал Константин. – Импорт и экспорт. Из Латинской Америки целыми кораблями алмазы везут, верно?

Билли смерил его взглядом пустым, но удовлетворенным. Константин этот взгляд знал. Маска победителя, совершенное спокойствие высшего существа.

– Нет, пап, – с нарочитым терпением сказал Билли. – Не алмазы. Они экспортируют, ну, в общем, бананы, кофе. И еще кое-что.

Константин почувствовал, как в груди его закипает гнев. Ладно, может, он и ошибся. Может, алмазы добывают в другой стране. В Африке или в Бразилии.

– А ты у нас умный, да? – сказал он. – Очень умный мальчик.

Возможно, тон его оказался более резким, чем он хотел. Иногда то, что он говорил, резало Константину ухо несоответствием его душевному настрою.

– Не знаю, – сказал Билли.

– Не знаешь. Ладно, а что ты *знаешь*? Я все время слышу от твоей матери, какой ты умный.

Он вглядывался в лицо сына. Билли стоял перед ним – хрупкое сооружение из костей и бледной кожи. В глазах мальчика, слишком больших для его головы, сменяли одна другую непонятные мысли.

– Где находится Коста-Рика, пап? – вдруг спросил он.

– Что?

– Коста-Рика. Страна такая. Ты знаешь, где она?

– Причем тут Коста-Рика?

– Просто я забыл, где она, – сказал Билли. – К северу от Панамы или к югу?

Константин отмахнулся от него.

– Иди, – сказал он. – Доучивай свои уроки.

– Ладно, – отозвался Билли.

Он взглянул на Мэри, и та отвела глаза в сторону с таким откровенно заговорщицким видом, что у Константина перехватило дыхание. Похоже, они строят общие козни, делятся соображениями о его недостатках. Билли глотнул коки и пошел к двери. Походка у него была аккуратненькая, девчоночья. Наверное, он может встать на носочки да так и стоять, не качаясь.

– Послушай, мистер, – сказал ему в спину Константин. – Мне не нравится твое поведение.
– Оставь его, Кон, – сказала Мэри. – Поднимайся вверх, Билли.

Билли обернулся. Лицо его было искажено чувством, назвать которое Константин не взялся бы. Может быть, бешенством. Может быть, страхом.

– Как называется столица Северной Дакоты, пап? – спросил Билли.

– Ты что мне хочешь сказать? О чем ты говоришь?

– Кон, – произнесла Мэри. Опасливое предчувствие, прозвучавшее в ее голосе, лишь сильнее распалило Константина.

– А сколько будет семью девять? – спросил Билли. – И как пишется слово “рифма”?

– Предупреждаю тебя, мистер. Какого дьявола ты о себе возомнил?

– Я – умный мальчик, – ответил Билли. – Ты сам так сказал.

– Ну так и убирайся отсюда. Считаю до трех, и чтоб духу твоего здесь не было. Раз.

Билли вышел из кухни. Константин увидел облегчение на лице Мэри. Она держала в руке список.

– Два, три, – досчитал Константин.

И повернулся к стойке, чтобы переложить наконец еду на тарелку. Он уже подцепил вилок отбивную, когда с лестницы донесся голос Билли:

– Столица Северной Дакоты – Бисмарк.

Константин выскочил из кухни и взлетел, перескакивая через ступеньки, по лестнице. Билли он настиг на верхней площадке. Мэри что-то вопила за его спиной, совсем рядом, но крики эти только распалили Константина. Он схватил Билли за костлявые руки, оторвал его от ковра.

– Что ты сказал? – спросил Константин и сам услышал придушенную мощь своего голоса. Билли смотрел ему в глаза с непроницаемой непреклонностью.

– Семью девять – шестьдесят три, – сообщил он.

Ударив его, Константин почувствовал, что уничтожает слабость своего дома, его уязвимое место. Прижигает рану. Тыл его ладони врезался в челюсть Билли, проехался по зубам – очистительный ожог. Откуда-то издали доносились крики Мэри. Голова Билли дернулась назад, и Константин ударил снова, на этот раз, пятой ладони, ударил сильно и точно, как молоток, загоняющий гвоздь в сосновую доску. Когда он отпустил руки сына, Билли обрушился на ковер и скатился по нескольким ступеням – к Мэри, сразу прижавшей его к груди. Она кричала и плакала. Слов Константин не различал. Он обернулся и увидел Зою, стоявшую в коридоре, опасно придерживая ладошками живот.

– Вернись в свою комнату, – сказал Константин.

Он смотрел ей вслед, пока она бежала по коридору, пока не захлопнула дверь. А потом спустился, обогнув Мэри и сына, вниз.

– Чудовище! – визжала Мэри. – Тупой ублюдок!

Константин не ответил. И не оглянулся. Медленно, чувствуя, как гудит в голове вернувшееся к нему спокойствие, он прошел через кухню в гараж, сел в машину. Ровно дыша, открыл гаражные двери, сдал машину назад и выехал на улицу. К концу второго квартала стрелка спидометра успела добраться до пятидесяти. Посматривая в зеркальце заднего обзора, Константин видел, как уменьшается освещенное крыльцо его дома, сливаясь с мешаниной соседских огней. Сердце отдавалось в ушах барабанным боем. Лицо Константина горело от гнева и стыда. Он обещал себе, что будет работать еще больше. Что станет лучше, добрее. А потом вдруг понял – он едет в свой городок, чтобы понаблюдать за ночной жизнью его домов, послушать, подобно кающемуся в церкви грешнику, бормотание их голосов.

1968

Поле для гольфа казалось необъятным, как океан, рассекаемый блеклым серебром восходящей луны. Мерцали созвездия, первый за эту осень северный ветер раскачивал среди звезд ветви сосны. Сьюзен лежала на блекло-желтом квадрате одеяла, с осторожной заботливостью сжимая пальцами член Тодда. И наблюдая за изменениями его лица.

– Ох, – вымолвил Тодд. От губ его и носа поднимался парок. – Ох. Охxxx. Ох.

– Чшш, – шепнула Сьюзен, хоть звуки, издаваемые Тоддом и не были громкими.

Повседневное свое существование крупное тело Тодда вело с поразительной легкостью. Он не находил ничего замечательного в способности его пальцев удерживать за края суповую чашку или в том, что его ступни целиком заполняют ботинки – массивные и потенциально такие же убийственные, как бетонные блоки. Он строго следовал правилам, жал руки другим юношам и с совершенной убежденностью говорил им, что рад их дружбе. А вот ночами – на гольфовом поле или в машине его брата – из тела Тодда грозило вырваться что-то слишком большое.

– Ахх, – прошелестел он, и Сьюзен снова шепнула:

– Чшшш.

Ладонь Тодда ползла по ее бедру. Сьюзен надеялась, что бедро ее прекрасно, что оно белеет под раскачивающимися ветвями, как алебастр. Надеялась, что она, в ее юбке и трусиках, в грубом, согревавшем ее голые груди кардигане Тодда и в свисавшей с шеи цепочке с холодным перстнем его выпускного класса, достойна преклонения. Пальцы Тодда скользнули под резинку ее трусиков. Сьюзен занервничала, немного переменила позу. Эти пальцы порождали в ее животе ощущение тошноты, странной тревоги. Пальцы продвигались вперед, потирая темные волосы ее лобка (почему они такие густые?), затем один окунулся в нее, быстро, почти украдчиво. Вставился внутрь, отдернулся, вставился снова. Сьюзен боролась с нараставшей в ней паникой. Как он упорен. Палец копался в ней, отыскивая что-то, некое загадочное совершенство, которого, опасалась она, ей как раз и недостает. Интересно, рассказывает Тодд о ней своим друзьям? Сжимавшая его член ладонь Сьюзен задвигалась быстрее, она знала: если заставить Тодда кончить, он успокоится, снова станет сдержанным, послушным стадному инстинкту юношей. И, чтобы отогнать свои страхи, Сьюзен сосредоточилась на его члене, на увитом венами черенке и лиловатой, странно непорочной головке. Других членов она ни разу не видела и, даже если ей случалось виновато рисовать в воображении еще каких-то мальчиков, она представляла себе их плечи, грудные мышцы, зады, но в промежности никогда не заглядывала. Там, где свисали их детородные органы, воображение Сьюзен рисовало белую, ярко освещенную заплатку, мальчики получались у нее сильными, волнующими, но лишенными пола, как слово “лошадь”. В ее географии тела присутствовал только один член – Тодда. И Сьюзен гадала, сознает ли он всю глубину и широту ее верности. И гадала также, не такое ли прилежание, не такую ли дотошную, клиническую любознательность, как у нее, и подразумевают люди, когда говорят о любви.

– Оуу, – Тодд испустил влажный, горловой звук, и Сьюзен поняла – конец уже близко.

Палец его толкся в ней все усерднее. Сьюзен могла бы закричать, потребовать, чтобы он перестал, но вместо этого смещала свободную кожуцу члена вверх и вниз, вверх и вниз, вкладывая в это движение всю свою волю, пока наконец Тодд не выстрелил вверх, придушенно застонав, первой призрачно засветившейся струйкой, опавшей кружочками брызг на его гладкий плоский живот.

– Ммм, – произнесла она и: – Чшш.

Кружочки пахивали белильной известью. То была вздыбленная капитуляция, пугающая и печальная. Сьюзен стискивала дергавшийся член в ладони, пока он не обмяк, пока палец

Тогда не угомонился и не выбрался наружу, так что теперь она могла полежать рядом с Тоддом, успокаивая его, ощущая жар его тела.

Они не разговаривали. Не будь ночь так холодна, они, пожалуй, заснули бы. Голова Сьюзен лежала на груди Тодда, поднимаясь и опускаясь в такт его ровному, животному дыханию. Ей нравились эти минуты, в которые она могла полежать с ним, просто полежать, ощущая себя такой же, как он, владелицей его огромного тела. Нравилась мысль о том, что ее тело может целиком поместиться внутри его. Она могла бы носить на себе Тодда, как доспехи. От травы тянуло сырым, бесстрастным запахом, Сьюзен вглядывалась в живот Тодда, покрытый крошечными лужицами семени, молочно светившимися в переменчивой темноте. В самый первый раз его извержение показалось ей омерзительным, однако со временем отвращение сменилось любопытством. Этот вязкий сок исходило внутреннее, сокровенное существо Тодда. Тодда, президента старшекласников, мать которого гладила даже его нательные майки. Выплески семени так не вязались с ним, что Сьюзен поневоле чувствовала себя тронутой. В них присутствовал оттенок утраты, и ей нравилось утешать после них Тодда. Она вглядывалась в эти лужицы, зная, что уже через секунду они станут полупрозрачными, разжижатся и стекут по его ребрам. Пока же беловатые густые кружочки эти мирно покоились под октябрьским небом. Сьюзен тронула одну из капелек пальцем, и та, совершенная в ее округлости, дрогнула на животе Тодда, прямо у границы его спутанных лобковых волос. Сьюзен сказала себе, что прикасается к свету звезд и к печали Тодда, к потаенному голоду, открытому только ей. Она подняла увлажненный палец в холодный воздух, вгляделась в его тусклое поблескивание, а затем приложила к языку.

– Что ты? – спросил Тодд.

– Пробую тебя на вкус, – ответила она.

Вкус походил на запах – что-то грибное, жидкий крахмал, однако присутствовал в нем и иной оттенок, волглый, человеческий.

Она услышала, как прервалось его дыхание.

– Господи, Суз, – выдавил он.

– Исключительно в научных целях, – пояснила она. – Хочется же знать все.

Но и сама услышала, что голос ее стал как-то тоньше. Она допустила просчет. Люди, по-настоящему любящие, так себя не ведут. Распущенность, нелепость.

– И, ммм, как он тебе? – спросил Тодд.

– Ну, мороженое им не заменишь.

– Наверное, нет, – сказал он.

Оба рассмеялись, испытывая, впрочем, неловкость. Сьюзен стянула кардиган на груди.

– Замерзаю, – сказала она.

– Знаю. Я тоже.

– Наверное, пора двигаться.

– Да. Наверное, пора.

Они сели, начали одеваться. Тодд достал из заднего кармана брюк носовой платок, вытер им живот – быстро, без всякой сентиментальности, точно ветровое стекло машины протирал.

– Холодно становится для таких дел, – сказал он. – Думаю, в этом году мы сюда больше не вернемся.

– Нет. Сегодня состоялось прощание с полем для гольфа.

Они огляделись вокруг – так, точно оба вдруг удивились тому, что вообще оказались на нем. Песочные бункеры светились в темной траве.

– Мы здесь когда-то катались на ледышках, – сказал Тодд. – Я тебе не рассказывал? По ночам, когда мне было лет десять-одиннадцать. Дэн, Ронни и я, мы приходили сюда и съезжали с холмов на больших кусках льда.

Сердце Сьюзен забилося чаще. Девочкой она вообще не знала, что такое поле для гольфа. Каждый день по фасаду их типового домика проползала тень фабричной трубы. Теперь же она получила гражданство другой страны, пышно-зеленой, где месяц в небе отвечает на вызывающие хлопки флажков, расставленных игроками в гольф. Она бросила взгляд, быстрый, но очень внимательный, на безмятежное лицо Тодда. На нем читалась наивная сила, огромная, какой обладает гора. Все в Тодде – лицо с его тяжелой симметрией, короткие толстые руки, гладкие мышцы живота, зад – напоминало Сьюзен континенты.

– Готова поспорить, ты был совершенно очаровательным малышом, – сказала она. – Миловидным до невыносимости.

Она и вправду словно видела его: приземистого, добродушного, почти нарочито веселого ребенка из тех, с какими хлопот попросту не бывает.

Он пожал плечами, явно польщенный. Тодду нравился миф о его жизни. Нравились мягкие повороты этого мифа.

– А ты была принцессой, – сказал он. – Так?

Сьюзен разгладила кончиками пальцев волосы Тодда, поцеловала его в губы. Временами ей было трудно понять, какую, собственно, историю создают они вместе. Была ли она скучающей чужеземной принцессой, явившейся сюда, чтобы укрыть свою волшебную диковинность на поле для гольфа и в кафе-молочной? Или нищенкой из сказки, которой выпал один шанс из миллиарда?

– Пойдем, – сказала она. – Мне почему-то кажется, что меня отец ждет.

– Ладно, – сказал он.

Удержи он ее здесь еще на минуту – скажи, что плевать ему на правила, которых придерживается ее отец, на его гнев, – и Сьюзен, быть может, вступила бы на долгий путь, по завершении которого влюбилась бы в него. Но сила Тодда в том-то и состояла, что он всегда делал именно то, чего от него ожидали. Он славился своей неизменной веселой готовностью быть заодно со всеми и каждым. Временами он цитировал Уилла Роджерса: “Я никогда еще не встречал человека, который мне не понравился бы”.

Они сложили одеяло и молча спустились по отлогому склону, склону четырнадцатой лунки. Тодд обнимал Сьюзен рукой за плечи. Она слышала его сильное дыхание, почти осознала мощную, несокрушимую надежность чувства, которое он к ней питал. Когда они подошли к машине его брата, Тодд, присев на крыло, прижал Сьюзен к груди. Его окружала собственная, теплая атмосфера, подслащенная “Олд спайсом” и “Виталисом”. Обычно такая вот близость к нему рождала в сознании Сьюзен образы скотного двора: запах свежего сена, мохнатые крупы откормленных животных.

– Сьюзен? – шепнул он, дыша ей в ухо.

– Ммм?

– Суз, я... в общем... по-моему ты великолепна.

Она усмехнулась, однако подавила смешок и нежно чмокнула Тодда в ухо. Что-то не давало ему покоя.

– А, по-моему, великолепен ты, радость моя, – прошептала она.

Ей показалось что некий внутренний голос произнес: не выдумывай. Асфальтовая дорога, в темноте отливавшая оловом, уходила отсюда к деревьям, к далеко отстоявшим один от другого домам. Принадлежавший брату Тодда “шевроле” посверкивал всем, чем только может свидетельствовать о свободе и преуспевании автомобиль. Так почему же какая-то часть ее остается холодной и безразличной? Как удастся ей сохранять объективность, способность к каталогизации – этой части, которая, отметив про себя машины и фонари у входных дверей, говорит о них: выдумка? Ей так хотелось, чтобы любовь подхватила ее и понесла.

– Это наш последний год, – сказал Тодд. – Он закончится, и все переменится.

– Знаю. Наверное, будет занятно – колледж и так далее.

Он провел пальцем по ее спине, сказал:

– Конечно. Будет здорово. Просто... А, ладно, неважно.

– Что? О чем ты, милый?

– Я провел здесь всю жизнь. Понимаешь? Никогда отсюда не уезжал.

– Я знаю, – отозвалась она. – Ты говорил.

Он вздохнул, так сильно, что почти раздавил ее, зажатую между его руками и приподнявшейся грудью. Школьное кольцо Тодда впилося в кожу между ее грудями.

– Вот мы и попрощались с полем для гольфа, – сказал он.

– Это только на время. Весной вернемся. Тодд, милый, все будет хорошо. Все будет просто чудесно.

– Конечно, – отозвался он. – Я знаю. Думаешь, я не знаю, как все будет чудесно?

Прозвучавшее в его голосе раздражение удивило Сьюзен. Тодд никогда не злился, не хмурился. Он был точь-в-точь как стол, украшенный апельсинами и кувшином молока.

– Все уже так и *есть*, мой сладкий, – с быстрой решимостью сказала она. – Подумай о колледже. *Подумай*, столько всего еще случится. Нас ждет целый мир, совсем новый.

Тодд кивнул:

– И мне этот мир нравится.

Он смотрел поверх нее на поле для гольфа, туда, где маячили на фоне неба резкие очертания сосен.

– Мне тоже, – сказала Сьюзен.

Тодд отвернулся от сосен, с истовой научной пристальностью взгляделся в выстроившуюся вдоль дороги вереницу темных домов.

– Скажи, а двухэтажные дома тебе нравятся? – спросил он. – Я всегда так хотел жить в доме с комнатами наверху, одноэтажки кажутся мне какими-то ненастоящими.

Сьюзен считала, что знает о себе и о Тодде всю правду. Она еще жаждала всего, чего у нее не было, а его желания, дальше только что высказанных, не простирались. Она была сильнее Тодда, даром что в его распоряжении находились все блага жизни. И в голове Сьюзен словно взорвалась мысль: мы с ним вовсе не пара. Она заслонила от этой мысли жалостью. Тодд нуждается в ней. Она обязана помочь ему остаться цельным. Иначе обитающий внутри него мальчик вырвется наружу и побежит по этой пустой дороге, оглашая ее воплями ужаса.

– Мне нравятся двухэтажные дома, – ответила она. – Конечно, нравятся. Иди ко мне.

Она поцеловала его и словно растворилась в массивности “шевроле”, в конской теплоте сладкого тела Тодда. Он был таким большим, таким послушным. Придет день, и она покинет его, чтобы узнать, многое ли может случиться в жизни с прелестной и умной девушкой. Пока же он принадлежал ей. Она обладала неограниченными правами на это тело, на эту жизнь, состоящую из трудов и воздаяний. Вскоре они оказались в машине и там, впервые, Сьюзен позволила Тодду коснуться ее межножья ласковой, невнятно безличной головкой его члена.

Дома все опять переругались. Пройдя через боковую дверь, Сьюзен почувствовала, как на нее навалился гнет недавней ссоры. “Привет”, – сказала она пустой кухне. Здесь все пребывало в порядке: в сушке поблескивали тарелки, разделочная стойка была протерта дочиста, над горшком с живым папоротником мерцали висевшие рядком отлитые из меди рыба, звезда, кролик. В воздухе веяло покоем, тишиной, усталостью.

Она прошла через кухню, постояла перед своим отражением в коридорном зеркале. Волосы не растрепаны, одежда чиста и не измята. И хотя обычно Сьюзен старалась воздерживаться от фантазий, на этот раз она позволила себе вообразить футбольное поле, на котором сначала выкликают ее имя, а затем водружают ей на голову корону, ярко сверкающую в сверкающем воздухе. Она оглядела себя с головы до ног. Кто она – королева или принцесса? И не

позволила ли она сегодня Тодду зайти слишком далеко? Сьюзен выдернула из волос травинку и, поскольку карманов у нее не было, сунула ее в вырез блузки.

Что бы тут ни произошло, оно уже закончилось. И все разбрелись по постелям. Единственным, если не считать незримо витавшего в воздухе напряжения, свидетельством домашнего разлада был продолжавший гореть в пустых комнатах свет. Наверное, отец укатил куда-то, а мать, убежавшая в спальню, так в ней и осталась – и заснула. Сьюзен переходила из комнаты в комнату, гася свет и стараясь не думать о том, как ее, плачущую избранницу, будут короновать. Желать слишком многого – это не к добру. Она щелкнула выключателем в столовой, потом в маленьком кабинете. С тех пор как они переехали в этот город, Сьюзен узнала кое-что, прочим членам ее семьи неведомое. Узнала, что дом их – подделка. Обтянутые розовой кожей диваны и кресла, глянец каштановых столешниц и блеск латунных ламп – все это было имитацией, скрепленной скобами и клеем. Она визгливо извещала о своей новизне и немного пахивала химией. А Сьюзен, единственной в семье, довелось побывать в настоящих домах. Мама – бедная мама – полагала, что отделанная золотом голубая кожаная шкатулка для драгоценностей есть верх изысканности и хорошего вкуса. Отец был уверен, что он преуспел в жизни не меньше тех, в чьих окнах отражаются лужайки и вязы широких авеню. Но Сьюзен приглашали и в другие дома. И она знала, что дома эти наполнены книгами, что воздух их пронизывает величаво-самоуверенный перезвон старинных часов.

Выключив свет на кухне, она увидела очертания человека, стоявшего посреди заднего двора. Сначала Сьюзен решила, что это отец, и по спине ее пробежал холодок – почему он стоит снаружи дома? Но тут стоявший поднял к губам оранжевый огонек сигареты, затянулся, и на недолгий миг сигарета озарила лицо Билли. Сьюзен, сдвинув выходную дверь, вышла на бетонное крыльцо.

– Не курил бы ты, – сказала она.

Билли стоял на траве, просто стоял и курил.

– Ты многое пропустила, – сказал он. – Тут такое творилось.

– Все целы?

– По-моему, да. Мама и Зои спят.

Она скрестила на груди руки, взглянула на звезды. Тодд сейчас уже ложится, одетый в одни пижамные штаны. На полке над его головой поблескивают подобные пышным замершим сновидениям выстроившиеся в ряд призы, золотые человечки с баскетбольными мячами.

– Не драматизируй, – сказала она. – Почему ты все драматизируешь, Билли?

– Да уж больно драматично у нас все получается. Будь ты здесь час назад, ты такого вопроса, наверное, не задала бы.

Медленно и устало Сьюзен подошла по траве к брату.

– Такая прелестная ночь, – сказала она.

– Наверное, – согласился Билли. – Да, пожалуй, ее можно назвать прелестной.

Ему было уже пятнадцать – старшекласник, – однако он не повзрослел, а словно бы упрочился в своего рода угрюмом, затянувшемся детстве. Увлечений у него не было. Одежду он носил смешную – латаные расклешенные брюки и цветастые, слишком просторные рубашки. Дружбу с ним водила только горстка хиппи и хулиганов, слонявшихся вокруг школы, точно бездомные коты. Тодд был с ним достаточно обходительным, однако Сьюзен знала – на самом деле, Билли ему не нравился. Нет, не так, Тодду нравились все. Билли он попросту не уважал. Считал его странноватым, чудным. Говорил: “По-моему, он чокнутый, твой братец”.

– Из-за чего ругались? – спросила она.

– Какая разница? Разве причина так уж важна?

Он с силой затянулся. Лицо его казалось состоящим из заострений и пустот. Костлявые выступы носа и подбородка, скулы отсутствуют, губы напрочь отказываются приобретать

хоть какую-то форму. Усыпанная прыщами кожа. Сьюзен боялась, что эта его незавершенность может сохраниться навсегда.

– У папы сейчас трудное время, – сказала она. – Столько всяких обязанностей. Я думаю, нам следует набраться терпения.

– Разумеется, – ответил Билли. – Шла бы ты в дом. Тут холодно.

– Ничего. Кстати, откуда у тебя сигарета?

– Я много чего делаю, о чем ты не знаешь. У меня своя жизнь, совсем другая.

Она кивнула.

– Пожалуй, я все-таки пойду, – сказала Сьюзен. – Ужасно устала.

– Ладно.

– Просто он иногда теряет власть над собой, – сказала Сьюзен. – Но, по-моему, папа меняется к лучшему. Старается. Нужно просто потерпеть.

– А ты не заметила, что *вещей* он не ломает? – спросил Билли. – Я раньше тоже так думал. Что он просто теряет власть над собой. Но после сегодняшнего скандала мне попала на глаза стеклянная курочка, та, что на подоконнике стоит. И знаешь? Сколько я себя помню, она всегда была у нас, стояла на самом виду, и он ни разу ее не тронул. Так что я начинаю думать, знаешь ли, что ему *хочется* причинять нам боль. Он понимает, что делает. Если бы он и вправду терял власть над собой, то давным-давно расколотил бы эту курочку.

– Он тебя ударил?

– *Папочка*? Ну что ты. Он меня отродясь пальцем не тронул.

– Билли. Выйди сюда, на свет.

– Я в полном порядке.

– Что случилось? Расскажи.

– Ну, получил пару оплеух. Ладонью. Очень похожих на поцелуи.

– Выйди на свет. Я хочу посмотреть.

– Забудь, – сказал он. – Я действительно в порядке. Но хочу тебе кое-что сказать.

– Что?

– Рано или поздно я его убью, и мне не хотелось бы, чтобы, когда я это сделаю, люди говорили, будто я утратил власть над собой. Хорошо? Я убью его, но больше никому вреда не причиню и ничего не разобью, не сломаю. погоди. Мне нужно, чтобы ты поняла. Чтобы рассказала всем, как однажды ночью стояла здесь со мной и я сказал тебе, что собираюсь убить его. Только его. Никого больше. Сделаешь это? Окажешь мне такую услугу?

Сьюзен плотнее прижала руки к груди.

– Какой ты все-таки глупый, – сказала она. – Я иногда гадаю: ты сам-то хоть понимаешь, какой ты глупый?

Сьюзен выключила в спальне свет, легла в постель. По обоям кружили в темноте розовые маргаритки. Услышав, как подъехала машина отца, она встала, накинула халат и спустилась вниз. Выглянула по дороге на кухню в окно столовой – Билли на заднем дворе не было. Может быть, он уже лег; может быть, отправился на прогулку по окрестностям. Она достала из холодильника молоко и, когда в кухню вошел отец, уже ставила кастрюльку на плиту.

– Привет, папочка, – сказала она.

Он постоял в двери, взглядываясь в нее так, точно знал ее когда-то давно, но не может теперь припомнить ни имени ее, ни точных обстоятельств их знакомства.

– Мне что-то не спится, – сказала она. – Выпьешь со мной молока?

– Сьюзен, – произнес он.

– Садись, – сказала она, вытягивая стул из-под кухонного стола.

– Как ты, Сьюзен? – спросил отец. – Как школа?

Эту его манеру говорить она знала: старательно точное произношение каждого слова, учтивость, почти официальность. Когда отец выпивал лишнего, к нему возвращался давний акцент.

– В школе все превосходно, папочка. Ну, школа она и есть школа. Садись. Молоко сейчас согреется, минута – и готово.

Он аккуратно прислонился к холодильнику. Пылкое, невинное, как у мальчика, лицо. После работы он так и не переоделся – белая рубашка, галстук в строгую полоску. Надо же, побил Билли, вылетел из дома, чтобы напиться, вернулся через несколько часов, а узел его галстука так идеальным и остался.

– Ты будешь королевой выпускного бала, – сказал он. – Я так горжусь тобой, радость моя.

– Встречи с выпускниками, папочка. Выпускной бал когда еще будет – весной. Пока я всего лишь принцесса. А королевой, скорее всего, станет Розмари. Она же местная. И в школе у нее примерно триллион друзей.

– Королевой станешь ты, – сказал он. – Да. О да, все выберут тебя.

Молоко уже начинало пузыриться у стенки кастрюли, Сьюзен сняла ее с огня, покачала в воздухе.

– Я не похожа на Елизавету, папочка, – сказала она. – Да и красивых девушек в школе немало. И ты даже не представляешь себе, как они одеваются.

Сьюзен тут же втянула в себя воздух, словно надеясь всосать вместе с ним последнюю фразу и проглотить ее. “Не жалуйся ему на нехватку денег, особенно когда он такой.” Впрочем, выражение отцовского лица не изменилось. Он продолжал смотреть на нее влажными, нефокусированными глазами.

– Принцесса, – сказал он. – Они сделают тебя королевой. Обещаю.

Он большой, опасный, он переполнен любовью. А если ее не выберут, что тогда будет?

– Быть одной из принцесс – это уже большая честь, – сказала она. – Да *садись же*, папочка. Молоко готово.

Интересно, куда подевался Билли? Отца он, конечно, не убьет, это понятно, а вот отец, если Билли войдет сейчас в кухню и поведет себя определенным образом, может сделать все что угодно.

– Ты не просто принцесса, – сказал он, опускаясь на стул. – А вообще, как ты? Счастлива? Как Тодд?

– Тодд он и есть Тодд, – ответила она, разливая по чашкам молоко.

– Школа есть школа, а Тодд есть Тодд, – произнес он. – Как-то невесело это звучит. Не очень счастливо.

Она поставила перед ним чашку, сказала:

– Не слушай меня. Все отлично. Наверное, у меня синдром выпускницы, что-то в этом роде.

– Как?

– Синдром выпускницы. Отчаянное желание покончить со школой, пока ты в ней на хорошем счету. Медицина тут все еще бессильна.

Отец покивал, глядя в чашку с молоком.

– Мы с твоим братом немного повздорили сегодня, – сказал он.

Отец хотел столь многого. И мог причинить столько вреда.

– Слышала, – отозвалась она. – Мне хотелось бы, чтобы вы не ругались так часто.

– Ты это не мне говори. Ему. Хочешь знать, как он меня обозвал?

– Что?

– Свиньей, вот как. *Свиньей*.

– Ох, папочка.

– Обычно он так полицейских называет. Обозвал меня говенной свиньей, прости за грубое слово. Вот как теперь разговаривает со мной твой брат.

– Тебе не стоит принимать близко к сердцу все, что он говорит.

– А твоя мать велела мне убираться из дома...

Перенасыщенный эмоциями голос отца звучал сдавленно. Лицо его потемнело.

– Она просто была расстроена, – сказала Сьюзен. – Ты же знаешь, нервы у нее все время натянуты, ей просто не под силу переносить ваши ссоры.

– Наверное. Наверное, это так. Ты все понимаешь, правда? Тебе всего восемнадцать лет, а ты уже так много понимаешь.

– Не так уж и много. Послушай, папочка, время позднее. Мне надо поспать.

– Если бы твоя мать понимала хоть половину того, что понимаешь ты. Господи... Если бы она не злилась так все время.

– Мне завтра придется встать около пяти...

Он положил ей на голову ладонь. Выражение его лица она прочитала с легкостью: любовь, жажда любви, бездонное горе.

– Сьюзи, – произнес он. Теперь лицо его было молящим, исполненным детской, еще неосознанной, страстной потребности.

– Я здесь, – сказала она. – Здесь, с тобой.

Она оставалась неподвижной. Страх и непонятное возбуждение владели ею. Не желание, нет, это неточное слово. Она сознавала власть, которую могла бы приобрести. Слышала, как на футбольном поле выкликают ее имя, видела, как возносится в пропитанный светом прожекторов воздух корона. Медленно, нежно, она сжала большую, исстрадавшуюся голову отца своими тонкими ладонями, привлекла его лицо к своему. От отца пахло пивом – запах сильный, но вовсе не неприятный. Человеческий запах. Сьюзен думала, что он отдернет голову. Не отдернул. Она испугалась. И позволила поцелую длиться и длиться.

1968

Слова не шли из горла Зои. И она просто смотрела. С плюща, который дюйм за дюймом вытягивался вверх из китайского горшка, сорвался листок. Пыль становилась в квадрате света то яркой, то темной. Призрак скользил по ковру, беззвучно выкликая все то, чего он не смог отыскать.

– Зои? – позвала мама. – Зои, ты здесь?

Она кивнула. Мама простучала каблучками по половицам. И вошла, неся с собой неистовство ароматов, замысловатое посверкивание. Нейлоновые чулки ее, скрипя, терлись о юбку.

– Ну правильно, – сказала она. – Не одета. И на голове воронье гнездо. Он будет здесь через двадцать минут, Зои. Ты понимаешь это? Знаешь?

– Угу, – ответила Зои.

– Так пошевеливайся.

– Я ненавижу это платье.

Из маминого рта исторгся звук, сухой и сосущий. Сегодня губы ее изгибаться отказывались и обратились в прямую линию.

– О том, что ты его ненавидишь, следовало сказать мне на прошлой неделе, – заявила она. – На прошлой неделе у нас нашлось бы время что-то придумать. А сейчас мне нужно, чтобы ты *надела* это платье, причесалась и умылась – и все ровно за десять минут. Поняла?

Зои снова кивнула, почесывая кожу между пальцами ног. Наверху папа насвистывал песенку, известную только ему. Мама его насвистывание ненавидела, хоть никогда об этом не

говорила. Папины песенки были как иглы, пронзавшие мамину кожу, однако она научилась получать от этой боли удовольствие.

– Зои. – Мамина рука с красными ногтями буквально выдернула Зои из кресла. – Ты меня с ума сведешь. Ты это понимаешь? Ладно, пойдем. Я сама займусь тобой.

Зои позволила маме вытащить ее из комнаты, провести по лестнице вверх, мимо фотографий. Она миновала саму себя, совсем еще маленькую, с ужасом глядящую из пижамки с танцующими медведями. Миновала венчание родителей, Сьюзен в крестильной рубашке. Миновала маму, пока еще девушку в жемчужных бусах и с твердой, полной надежд улыбкой на лице.

Зои знала, что замуж она никогда не выйдет. Новобрачной положено строить планы, жить в доме. А Зои будет жить под открытым небом и питаться супом из древесной коры, сваренным на дождевой воде. Для домов она не пригодна.

– ...прошу не так уж и о многом, – говорила мама. – От двенадцатилетней девочки вполне можно ждать, что она сама приведет себя в порядок, что за ней не придется приглядывать, нянчиться с ней каждую секунду. Честное слово, я иногда просто не знаю, что мне с тобой делать.

Мама привела ее в главную спальню дома, время здесь шло медленнее. Широкое белое покрывало кровати безмолвно повествовало о долготерпении белизны. На стене застыли в прыжке два серебряных танцора, мужчина и женщина. Мама усадила ее за туалетный столик, на котором теснились баночки, тюбики, стеклянные пузырьки – миниатюрный город косметики. В нем шла особая, затейливая, замысловатая жизнь. Это был центр всего.

А Зои будет жить везде и всюду, оставаясь простоволосой. И пахнуть мхом и мехом.

– Только сиди спокойно, ладно? – сказала, берясь за щетку, мама. – Если будет немножко больно, тут уж ничего не поделаешь. Господи, Зои, сплошные колтуны. И как ты этого доби- ваешься?

Зои видела в круглом зеркале себя и маму. И видела в себе кончину семейной красоты. Буйные брови, нос с горбинкой. Что-то, зародившееся в маме и перешедшее к Сьюзен, разби- лось о ее, Зои, маленькие черные глаза, о ее выступающий подбородок.

Она была кем-то другим. Дух семьи не смог вселиться в нее.

– Ммм, – простила мама, продирая ее волосы щеткой.

На другом конце коридора, в ванной, насвистывал папа. При каждом новом переливе его свиста щетка врезалась в спутанные клубки густых черных волос с больше прежнего силой. Было больно.

– Еще секунда и все закончится, – сказала мама. – Если бы ты сама занялась этим час назад, что тебе и следовало сделать, нам не пришлось бы так спешить.

Из коридора донесся голос Сьюзен:

– Мам, ты не видела моего брелочника?

– Чего?

Сьюзен остановилась в проеме двери. В зеркале появилось ее лицо.

– Моего *браслета с брелочками*, – сказала она. Ее лицо приблизилось к маминому.

Теперь зеркало отражало всех троих. Глаза Зои впивали общее молчание.

– А в твоей шкатулке с украшениями его разве нет?

– Ты думаешь, я в нее не заглядывала?

– А в кармане твоего плаща? Помнишь, в прошлый раз ты тоже решила, что он потерялся,

и...

– И в карман заглядывала. Я везде уже посмотрела.

– А без него ты никак не можешь?

– Мне хочется надеть его.

Мама вздохнула, тихо, изнуренно, протяжно.

– Ну хорошо, – сказала она. – Закончи с волосами Зои, а я поищу твой браслет. Она протянула Сьюзен щетку и исчезла из зеркала, высокие каблочки ее сердито застучали по коридору.

– Черт, Зои, вот какими должны быть волосы, взгляни, – сказала Сьюзен.

От нее исходил летучий аромат мыла. Она принесла с собой дух оптимизма, быстрые движения уверенного в себе механизма.

– Я не хочу, чтобы меня фотографировали, – сказала ей Зои.

– Ну, тут уж ничего не поделаешь. Хочешь не хочешь, а сняться под Рождество нам придется. Крепись, сейчас будет немного больно.

– Ой! – вскрикнула Зои, хоть Сьюзен и обходилась с ее волосами ласковее, чем мама.

– Девушке полагается быть отважной.

– Я вообще фотографироваться ненавижу, – сказала Зои. – И платье, которое она мне купила, тоже терпеть не могу.

– Знаю, знаю. Все это ужасно. Господи, злодей какой-то, а не клубочек.

В зеркале появился папа. Большой. Энергичное, подвижное лицо.

– Здравствуйте, дамы, – сказал он. – Как идут дела?

– Сражаюсь с волосами Зои, – ответила Сьюзен. – Поразительное явление. С виду волосы как волосы, а начинаешь их расчесывать и тут же понимаешь – нет, это что-то другое. Проволока, что ли.

Папа положил ладонь на плечо Сьюзен.

– Поторапливайтесь, – негромко сказал он. – Фотограф появится с минуты на минуту. Ваша мама уже сама не своя.

– Ну, полагаю, если ему придется подождать минут пять, Рождество все равно не отменят, – сказала Сьюзен.

Папа кивнул, улыбнулся. Ответ был правильный.

– Нашла, – крикнула откуда-то мама. – В корзинке с грязным бельем. Господи, я же могла засунуть его в стиральную машину.

Мама вошла в комнату, однако в зеркале не появилась. Папа снял руку с плеча Сьюзен.

– Зои почти готова, – сообщила она.

Мама вступила в зеркало. Лицо возбужденно нетерпеливое, чреватое большим шумом.

– Давай, я сама закончу, – сказала она.

И, отобрав у Сьюзен щетку, провела ею по волосам с силой, вытянувшей на поверхность сознания мысли самые потаенные. Зои позволила своим глазам увлажниться – пусть мысли перекипят в этой влаге. Она не издала ни звука.

Спустя недолгое время все уже сидели, наблюдая за приготовлениями мистера Флеминга, в предвечернем полумраке гостиной. Мистер Флеминг был низкорослым человеком в тяжелых очках, суетливым и вечно чем-то удивленным. Казалось, что прямо перед ним, не более чем в футах от его узкого серьезного лица совершается нечто невидимое, только ему и известное. Камера его стояла на трех журавлиных ногах, нацелив на гостиную незрячее око.

– Вы, главное, не волнуйтесь, – говорил он, опуская лампу. – Все займет лишь несколько минут. Правильно? Лишь несколько минут.

Зои и Билли сидели на диване. Он был в синем блейзере, с красным платочком, выступавшим из нагрудного кармана, точно предмет его тайной гордости. Билли пожелал сниматься сидя, потому что выглядел в этой позе более рослым, колени его были разведены в стороны, костлявые руки лежали, раскинутые, на диване. Билли считал так: многие вещи важны, но из этого вовсе не следует, что они заслуживают серьезного к себе отношения.

– Отличное платье, – сообщил он Зои, изогнув уголок рта.

Она сгорбилась. Лоб ее вспыхнул. Временами Билли говорил то, что думает, временами нечто прямо противоположное. Платье было зеленое, перетянутое в талии лентой с красным бантом величиной в капустный кочан. Когда мама принесла его домой, Зои всего лишь пожала в непредусмотрительном согласии плечами. Она почему-то не до конца осознала, что ей придется надеть *вот это* и очень скоро.

– Пусть дети сядут на диван, – предложила мама. – А мы с тобой, Кон, встанем за ними.

Весь облик ее выражал алчущую, надменную печаль. Она уже приготовилась к разочарованию, которое испытает, увидев присланные мистером Флемингом пробные отпечатки.

– Ма, – сказал Билли. – Мы каждый год так снимаемся.

– У вас, профессор, имеется идея получше? – осведомилась мама.

– На этот раз я хочу стоять, – сказала Сьюзен. – Сидя я кажусь слишком толстой.

Сьюзен пришлось побороться за то, чтобы надеть платье, которое было на ней сейчас. Мама упорно твердила, что для Рождества оно не пригодно.

Однако желания Сьюзен неизменно и холодно били в одну точку. А мамыны вечно оказывались слишком разбросанными. Мама хотела, чтобы Сьюзен надела платье, которое больше идет к Рождеству, но одновременно хотела и купить Билли новые коричневые мокасины, и сделать себе другую прическу (она не слишком меня молодеит?), и прикупить шесть коробок елочных гирлянд с прозрачными лампочками – вместо уже приобретенных ею цветных. И это позволяло Сьюзен, с ювелирной точностью сознававшей, чего хочет *она*, одерживать над мамой верх.

Мама сказала:

– Если мы втроем будем стоять за диваном, а Билли и Зои сидеть на нем, получится нечто странное.

– Тогда сядь между Зои и Биллом, – предложил ей папа, – а мы со Сьюзи встанем за вами.

Губы мамы сложились в прямую, узкую линию. Так они говорили “нет”, пока мама вглядывалась в свои мысли. На ней было красное платье с брошью в виде веточки остролиста и тремя подрагивавшими на груди золотыми стеклянными шариками.

– А что если сядем мы с тобой? – спросила она. – А дети встанут за нами

– Зои же коротышка, – сказал Билли. – На фотографии только ее макушка видна и будет.

Мама покивала.

– Ладно, – сказала она. – Хорошо. Как хотите. Я сяду. Сьюзен, встань рядом с отцом.

Все было слишком сложно, она запуталась. Ей хотелось стоять за диваном рядом с папой, но хотелось также получить новую пластинку рождественских хоралов, и набор тарелок, украшенных от руки изображениями сахарного тростника, и бусы из настоящего жемчуга, чтобы подарить их Сьюзен на выпускной вечер.

– Приготовились, – сказал мистер Флеминг. – Все заняли свои места. Правильно?

Мама села на диван между Билли и Зои, окрасив воздух нервным посверкиванием и особой ее гордостью – тонкой музыкой серег. Пройдет три недели, и из типографии поступят открытки: “Семейство Стассос поздравляет вас с праздником!”

– Ну как на ваш взгляд, мистер Флеминг? – спросила она. – Я говорю о композиции.

Мистер Флеминг на долю дюйма сдвинул лампу. И окинул семейство Стассос полным благоговения близоруким взором.

– Правильно, – сказал он. – Само совершенство. Почти. Сьюзен, чуть-чуть отступите от отца влево. Вот так. Само совершенство, без “почти”.

Зои слегка подвинулась на диване. И сложила руки, пытаясь прикрыть ими красный бант на животе.

– Не ерзай, Зои, – сказала мама.

Она наклонилась к Билли, поправила торчавший из его кармана платок, что-то прошептала ему, и Билли зашелся беспомощным смехом. Зои оглянулась на папу и Сьюзен. На миг ей представилось, что Сьюзен оделась к свадьбе – блестящий атлас и кружева.

– Прекрасно, – сказал мистер Флеминг. – Каждый выглядит – просто блеск. А теперь улыбнитесь мне. Правильно?

Зои понимала – ее в этой картинке просто-напросто нет. Она чуть сместилась к центру. Но в картинку все равно не попала.

– Зои, послушай, – сказал мистер Флеминг. – Улыбнись, хорошо? Сделай мне одолжение. Она кивнула. Попробовала улыбнуться. В гостиной полыхнул ослепительный свет.

1968

Отменять что-либо было уже поздно. Поцелуи обратились в нечто такое, в чем Сьюзен *участвовала*, а языка, на котором она могла бы сказать им “нет”, попросту не существовало. И теперь осталось лишь позволять этому происходить. Если молчать о них, они не обретут ни формы, ни начала, ни конца; главное и единственное – ничего о них не говорить.

Если бы начало всему положила не она сама, если бы она была невинной девушкой, Сьюзен еще могла бы сказать “нет”. Невинным девушкам такое иногда удается.

Но ведь именно она и никто другой позволила этому случиться. Она хотела этого. Вернее сказать, *не* хотела. Да и происходило все, лишь когда он напивался. Тогда Сьюзен становилась маленькой девочкой, а он – ее няней. Он целовал ее мечтательно, словно понарошку. И не забывал следить за своими руками.

А винить его, на самом-то деле, было не в чем. Начало всему положила она, и теперь это просто *было*, стало их общим секретом. И сказав “нет”, она дала бы происходящему название.

До окончания матча оставалось всего две минуты. Уже построившийся в колонну оркестр ждал на крытой трибуне, золотые отблески играли на его трубах и тромбонах. Сьюзен и Розмари, дирижируя победными кликами своей команды болельщиков, улыбались друг дружке. Две минуты. Четверка капитанш этих команд прошла колесом, и Дотти Уиггинс, которую в школе любили, несмотря на ее неказистую внешность, утерла, играя на публику, ладонью лоб, как будто колесо потребовало от нее бог весть каких усилий. В холодном воздухе зазвенел смех. Кто-то метнул вверх серпантин, и текучая темно-красная ленточка пронеслась по темному небу.

– Победа, победа – наш клич. ПО-БЕ-ДА.

Когда игра возобновилась, Сьюзен и Розмари стояли бок о бок, глядя на поле.

– Волнуешься? – прошептала Розмари.

– Нет. Немного. А ты?

– Нет. Ведь все равно победишь ты.

– Нет, ты.

Вбрасывание мяча. Бордовые фуфайки схлестнулись с оранжевыми. Сьюзен услышала кряхтенье, крики, музыкальный звон от удара шлемом о шлем. Крутящийся мяч взвился в воздух и полетел по грациозной дуге, и Розмари прошептала:

– Ты Марсию видела? Выглядит – хоть сейчас на Хеллоуин.

Сьюзен кивнула, сооротив гримаску. Марсия Росселини была девушкой крутой, красивой и “делавшей все”. Когда объявили имена принцесс, Розмари сказала Сьюзен: “Марсия заставит проголосовать за нее всех ребят, с которыми она переспала”. И хоть Сьюзен презирала ее не так сильно, как презирала ее Розмари, она хорошо понимала, к чему ведет ненасытность Марсии. Никто не взялся бы оспорить роскошь ее шоколадных волос и карих глаз, живую томность движений. Первая красавица школы, тут и говорить не о чем. Однако она перебирала маль-

чиков одного за другим, отдаваясь каждому из них. Расточала свою красоту, словно богатая наследница, спускающая полученное ею состояние за несколько безумных, ослепительных лет. Мальчики сбивались вокруг нее в стаю, точно порывающиеся, щелкающие зубами голодные псы, и как ни щедро одарила ее жизнь, Марсию можно было лишь пожалеть. Потому что она скармливала себя псам. Потому что смеялась слишком уж искушенно, носила юбки в обтяжку, и закончить ей предстояло в какой-нибудь квартирке Элмонта или Юниондейла, став женой самого бесшабашного и сексуального из этих мальчиков, привычки и нрав которого будут тиснить каждый год жизни прямо на ее коже. Лет десять или двадцать назад можно было увидеть таких же Марсий Росселини, работавших официантками или кассиршами, покрикивавших с крылечек на своих неуправляемых детей. Эти женщины жили желанием, и желания обращались в пепел в их прекрасных, опытных руках.

Королева же – это не просто носительница столь незатейливой и обреченной желанности. Королева – это судьба. Сама изысканность. И принадлежать она может лишь одному человеку. Она достаточно ярка для того, чтобы жить, не покрывая себя позором, и каждая совершаемая ею ошибка сторает дотла в блистании того, чем она стала.

– Марсия победить не может, – сказала Сьюзен. – Победишь ты.

– Да нет, я думаю – ты, – ответила Розмари. – У меня предчувствие, правда.

Сьюзен импульсивно сжала руку Розмари. Хорошо, она готова признаться в этом, пусть только самой себе. Ей отчаянно хочется победить. Она нуждается в победе, нуждается больше, чем Розмари. И она разрешила себе помолиться: “Боже, прошу тебя, пусть выберут *меня*. Дай *мне* стать королевой”.

Матч завершился, оркестр вышел на поле. Сьюзен, Марсия и Розмари стояли у пятидесятиардовой линии. На Сьюзен и Розмари была капитанская экипировка, на Марсии – зелено-ватоголубое платье с глубоким вырезом и сапфир на тонкой золотой цепочке. Высокие скулы, маленькая, прекрасной формы голова. Глаза она подвела жирным черным карандашом, на веки наложила от ресниц до бровей синеватую тень. На Сьюзен и Розмари Марсия взирала с сонным недовольством, давно уже ставшим ее фирменным выражением.

– Скоро конец, девочки, – сказала она.

Розмари улыбнулась, сняла со своей фуфайки пушинку. Она ненавидела Марсию так, как домашняя хозяйка ненавидит беспорядок. Сьюзен же самоуверенность Марсии внушала что-то вроде восхищения, однако она до того страшилась уготованной Марсии судьбы, что испытывала, приближаясь к ней, приступы тошноты.

– Верно, – вяло ответила Сьюзен. – Джек-пот.

К ним подошел, улыбаясь, Тодд: плечи расправлены, левая рука небрежно опущена в карман. Он двигался так, точно это мгновение, и следующее за ним, и следующее образовывали вереницу проходов, в точности совпадавших с ним по размеру. В правой руке он держал запечатанный конверт. Тодду, президенту старшеклассников, предстояло назвать сегодня имя победительницы. Одет он был в серые свободные брюки и темно-синий блейзер, который Сьюзен знала так же интимно, как собственную одежду. Она ощущала подобие родственной связи с чем-то выдающимся, значительным – просто потому, что лежала, гологрудая, под звездами, прижимаясь щекой вот к этому блейзеру. И внезапно Сьюзен почувствовала себя опозоренной этим, достойной осуждения. Совершенно невозможно понять, какие тебе надлежит испытывать чувства.

– Всем привет, – улыбнулся Тодд. – Готовы?

Тодд, поскольку он веровал в долг, не взглянул Сьюзен в глаза, не подмигнул ей, не улыбнулся украдкой. Будучи сейчас лицом официальным, он вел себя так, точно состоял со всеми тремя претендентками в отношениях задушевных, но отнюдь не близких, и Сьюзен на миг горько возненавидела его за это. Она взглянула на Марсию, которая, скорее всего, считала Тодда посмешищем. Вечным командным игроком, слишком скучным и правильным.

– Скорей бы уж все закончилось, – произнесла Марсия.

Сьюзен оставалось только гадать, и вправду ли она настолько уверена в себе, настолько поглощена своим будущим, что испытывает искреннее безразличие к возможности победы. И если Марсия победит – всего лишь потому, что взбалмошна, прекрасна и обречена, – закончит ли она этот вечер пьяной, хохочущей, измазанной в косметике, надевающей корону из горного хрусталя на стоящий торчком член Эдди Гаглиостра? Сьюзен вдруг позавидовала ей – куда сильнее, чем завидовала Розмари и прочим известным всей школе благонравным девочкам. Марсия сумела, благодаря одной лишь нечистоте ее и распутности, подняться в такие сферы, где поражение – ничто, потому что и победа – тоже ничто.

Розмари легонько ущипнула через свитер руку Сьюзен, и та ответила ей тем же. Розмари была ее лучшей подругой, настоящей сестрой, всем тем, чем хотелось быть самой Сьюзен. Тодд вывел трех девушек на середину поля, где оркестранты уже обступили полукругом светло-зеленый “кадиллак”, которому предстояло провезти королеву с ее свитой по всей беговой дорожке. Мальчики из младших классов тоже стояли здесь, держа наготове фотоаппараты со вспышками. Прошлогодня королева, Пегги Чандлер, ожидала минуты, когда она сможет короновать победительницу. Пегги, миловидная, крепкая, в дорогом, расцвеченном красными маками платье, приехала сюда поездом из Олбани, где вскоре должна была обвенчаться с заместителем прокурора штата. “Удачи”, – шепнула Розмари, и Сьюзен ответила ей: “Удачи”. У нее немного кружилась голова, не хватало воздуха. Мир словно сохся у нее на глазах. “Прошу тебя, – безмолвно произнесла она. – Прошу тебя, Боже”. Ни Розмари, ни Марсия не нуждались в короне так, как нуждалась она. Потому что они уже вступили на предназначенные им пути.

Девушки выстроились перед “кадиллаком”, лицом к крытой трибуне. Пегги Чандлер стояла в сторонке, улыбающаяся, основательная, довольная собой. Сьюзен знала, где сидят ее родные, хотя на таком расстоянии она обратилась всего-навсего в часть непрестанно движущейся, взбудораженной толпы. Мир так велик. Столь многое в нем можно завоевать или утратить. Тодд подошел к микрофону, поправил его, поморщился, когда микрофон взвизгнул, и одарил зрителей широкой улыбкой.

– Всем добро пожаловать, – голос его бухал в динамиках, гулкий и глубокий. – Добро пожаловать, мои одноклассники и выпускники нашей школы. Надеюсь, игра вам понравилась. Нет. Позвольте поправиться. Надеюсь, вам понравилось, как мы разнесли этих “Пантер” в пух и прах.

Ночной воздух наполнился восторженными криками. В небо взлетели бордовые серпантинки. В лучах прожекторов каскадами посыпались конфетти.

– Мы, “Троянцы”, прославились в этих краях нашим командным духом, честностью и свирепостью на игровом поле. Ну, во всяком случае, некоторые из нас. Другие столь же хорошо известны своей красотой и обаянием. И вот, настало время короновать девушку, которая представляет эти качества наилучшим образом. Леди и джентльмены, я удостоен чести объявить вам имя королевы нынешней, тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года, встречи выпускников.

Зрители опять завопили, но уже не так громко. Тодд склонился к микрофону. Лицо его в профиль выглядело серьезным и многозначительным – низкий лоб, короткий нос и нижняя челюсть, такая тяжелая, что Сьюзен порою ловила себя на мысли, несерьезной, конечно: интересно, как будет выглядеть его оголившийся череп?

– Прежде всего позвольте мне сказать, что звания королевы заслуживает каждая из трех этих прелестных леди. Каждая из них, пусть и по-своему, олицетворяет идеал “Троянцев”. Однако традиция требует, чтобы избранницей стала только одна. И потому, без дальнейших проволочек...

Тодд поднял перед собой ослепительно белый конверт, надорвал его, достал листок бумаги. В широком спокойном лице его ничто не изменилось.

И он произнес:

– Позвольте представить вам первую принцессу тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года. Марсия Росселини.

Приветственные крики и гиканье, редкий неодобрительный свист. Марсия улыбнулась и чуть приподняла подбородок, словно бросая вызов Пегги Чандлер, вручившей ей единственную красную розу, причитающуюся принцессе по чину. Розмари и Сьюзен мгновенно повернулись друг к дружке. Каждая помнила, что на лице ее не должно отразиться ни облегчение, ни торжество. Розмари произнесла одними губами: “Значит, ты”, и Сьюзен, чуть приметно качнув головой, точно так же ответила ей: “Нет, ты”. На миг ей захотелось, чтобы победа досталась Розмари, чтобы никакое разочарование не запятнало душу ее подруги. Захотелось, чтобы совершенство Розмари росло и росло, пока в ней не воплотятся все добродетели женщины, и тогда она, Сьюзен, сможет стать ее правой рукой. Ее доброй, достойной дочерью.

– Итак, – сказал в микрофон Тодд, и на стадион пало молчание, нарушаемое лишь потрескиванием громкоговорителей и далеким ревом какого-то младенца.

– Позвольте представить вам принцессу Сьюзен Стассос и королеву тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года Розмари Поттер.

Розмари и Сьюзен обнялись. Сьюзен испытывала и облегчение, и прилив любви к подруге. Да, конечно. Розмари и должна была победить, именно для этого появилась она на свет. Волосы Розмари коснулись щеки Сьюзен, и она подумала: “Я – первая, кто обнимает королеву”. Толпа радостно вопила. Когда они разомкнули объятия, Розмари плакала, а Сьюзен обнаружила вдруг, что ее-то глаза сухи. “Поздравляю”, – сказала она, и сама удивилась тому, как официально это прозвучало. Розмари кивнула, слезы не позволяли ей вымолвить хотя бы слово, а Сьюзен вдруг ошеломило понимание того, насколько же сильно, оказывается, жаждала звания королевы и ее подруга. Насколько сильно хотелось Розмари завершить учебу в школе безукоризненной и полной победой. И что-то оцепенело в душе Сьюзен. Розмари сказала “значит, ты”, зная – зная наверняка, – что Сьюзен не победит. У Сьюзен греческая фамилия. Да к тому же она не блондинка.

Они отступили одна от другой. Улыбнулись ревушей толпе. Пегги Чандлер обняла Розмари и аккуратно опустила на ее голову хрустальный венец. А затем вручила Сьюзен одинокую розу, чмокнула сухими губами в щеку и вложила в руки Розмари дюжину других роз, обернутых в тонкую ткань. Сьюзен взглянула на Тодда. Он смотрел, улыбаясь, прямо на нее, и она улыбнулась в ответ, думая: “Ничего, переживу, этот вечер изменит меня, но я его переживу”.

Оркестр заиграл “Звездную пыль”, три девушки уселись на заднее сиденье открытой машины. Розмари держала Сьюзен за руку. Обе молчали. Обе приветственно махали свободными ладошками толпе. Автомобиль медленно ехал под крики бурно жестикулировавших зрителей по беговой дорожке, а Сьюзен покручивала стебель своей розы и пыталась понять, чего она, собственно, ожидала. Удивлена ли она тем, что ожидания ее осуществились во всей полноте? Считает ли, что очевидность участи Розмари, легкость, с которой она неизменно одерживает победы, как-то принижает ее, Сьюзен? И когда автомобиль начал, достигнув конца поля, поворачивать, Сьюзен поняла: присущая жизни способность удивлять человека имеет свои пределы. Факты всегда берут верх над романтическим неправдоподобием. Бедная девушка – смуглая, чужеземная – может стать принцессой. Но и не более того.

Автомобиль завершил круг, девушек попросили остаться на местах, пока не доиграет оркестр, и по-прежнему приветственно махать руками трибунам. Затем Тодд открыл для них заднюю дверцу. Первой из машины вышла Марсия, за ней, породив новый всплеск рукоплесканий, Розмари. Когда же вышла и Сьюзен, Тодд обнял ее – с такой силой, что она задохнулась. “Я горжусь тобой”, – прошептал он. Едва Тодд отпустил ее, Сьюзен взглядела в его лицо, пытаясь найти следы сочувствия или разочарования. И не нашла – впрочем, верить Тодду было нельзя. Ведь говорил же он, что еще не встречал человека, который ему не понравился бы.

Несколько девушек, надеявшихся получить номинации, но не получивших, поздравили Сьюзен, и она начала понимать впервые, с какой добротой относится мир к тем, кому не выпадает победа. Розмари, на лице которой еще поблескивали слезы, стояла со своим ухажером Рэнди в нескольких футах от нее. В этот вечер самое безопасное – держаться за ее спиной, спиной девушки, достигшей безоговорочного успеха. Засверкали вспышки, словно воспламенившие корону Розмари, и Сьюзен, закрыв глаза, увидела ее красный, фосфоресцирующий отпечаток.

– Ребята из школьного ежегодника попросили меня сфотографировать вас втроем, – негромко произнес Тодд.

Нехарактерное для него построение фразы. В обычной ситуации он сказал бы: “Встаньте рядышком, мне нужно сфотографировать вас”. В обычной ситуации он не видел зазора между ожидаемым и необходимым. Тодд легонько сжал загривок Сьюзен, и она царапнула ногтями по обшлагу его рукава.

Еще две девушки поздравили Сьюзен, потом из толпы выступила ее семья. Мать, первой подскочившая к ней, быстро прижала ее к груди, сказав:

– Смотрелась ты просто прекрасно.

Отец, усмехаясь, провел большим пальцем под подбородком Сьюзен и сказал:

– Грабеж среди бела дня. Надо бы еще раз пересчитать голоса. Тебе не кажется, Тодд?

Тодд ответил:

– У меня нет никаких сомнений в том, кто здесь настоящая королева, сэр.

Отец кивнул, пожал плечами.

– Блондинки, – сказал он. – Мир помешался на блондинках. Никогда этого не понимал.

Сьюзен чуть отступила к Тодду. Отец винил ее за неуспех, хоть никогда и не признался бы в этом. Она неизменно попадала в списки лучших учениц, всегда побеждала на клубных выборах. Танцевала первые партии на концертах балетного класса. А теперь вот стояла, некоронованная, с единственной розой в руках, пока щелкали камеры и вспышки обливали светом другую девушку, трудившуюся, надо полагать, с пущим усердием, излучавшую обаяние более тонкое и вообще более значительную. А Сьюзен Стассос попала в ее прислужницы. Оказалась той из трех сестер, с которой не пожелали обвенчаться целых два принца.

И теперь она принадлежала отцу.

Зои, явно смущаясь, обняла ее, а Билли, ущипнув Сьюзен за руку, объявил:

– Тебе за такие дела растреклятое “Пурпурное сердце”² полагается. Знаешь, в сравнении с этим, вся дальнейшая жизнь будет казаться тебе безопасной и тихой.

Сьюзен не хотела показаться завистницей, стоящей, пока оркестр играет “Надейся”, с одинокой розой под креповыми флагами школьного кафетерия. Раз уж она не смогла победить, так лучше выглядеть *blase*³, такой, как Марсия, которая возвышалась сейчас у края танцпола, гордая, как плененная амазонка, окруженная подругами – накрашенными грубиянками в коротких юбочках, в компанию которых затесался и Эдди Гаглиостра, красивый, буйного нрава юноша, только одно, по собственным словам Марсии, достоинство и имевший. Какая-то из подруг громко произнесла: “Пошли в уборную, *принцесса*, покурим”, – и Марсия рассмеялась. Может быть, она доказала сегодня, что достаточно посредственна для того, чтобы избежать ожидавшей ее участи – квартиры в двухэтажном кирпичном доме и буяна-мужа, не способного удержаться ни на одной работе. Прежде чем она ушла в курилку, Эдди прошептал ей что-то на ухо, и она понимающе улыбнулась. У Эдди были толстые губы и сломанный нос, на лоб его свисал напوماженный кок. Сьюзен притворялась, будто слушает Дотти Уиггинс, но

² “Пурпурное сердце” – в США воинская медаль за боевое ранение.

³ Пресыщенный, скептический (*фр.*).

на самом деле пыталась представить себе, на что это похоже – быть Марсией, которая окажется под конец сегодняшнего вечера пьяной и голой в машине или в уступленной кем-то на ночь спальне. Она пыталась представить себе Эдди – его толстые, непристойные губы. Дотти Уиггинс говорила что-то об университете, а Сьюзен думала об Эдди, о том, как он ухмыляется, самодовольно и насмешливо, доведя девушку до иступления. Он вламывался в чужие дома, тиранил ребят из младших классов. Дважды угрожал в раздевалке Билли. Сьюзен воображала сухожилия его рук и бедер, его наглые речи, сухие, крепкие мышцы груди и живота. А потом, покраснев, сосредоточилась все-таки на Дотти Уиггинс, говорившей:

– ...“Тафтс”, конечно, лучше, но мне кажется, что в Колорадском университете живется куда веселее, а у веселой жизни есть свои преимущества, как по-твоему?

– По-моему, никто тут, на самом-то деле, не веселится, – ответила Сьюзен. – По-моему, все, чему мы научились, это сбиваться в стадо, производить побольше шума и называть это весельем.

Дотти с подозрением уставилась на нее.

– Ну, – сказала она, – если тебе охота из всего делать *трагедию* и так далее...

Сьюзен, повертев в пальцах розу, ответила:

– Нет, лапуля. – Она никогда еще не называла кого-либо из девушек “лапулей”. Это Марсия именовала так тех, кого считала слюнтяйками. – Я не хочу устраивать трагедию. Я хочу веселиться, но только по-настоящему. Честное слово, хочу.

Она отлично понимала, что делает. Создает новую тему для пересудов: Сьюзен Стассос стала, потерпев поражение, такой противной. Уж Дотти-то не преминет довести это до всеобщего сведения. Она хорошо умела передразнивать людей и теперь начнет изображать Сьюзен – как та стоит, вся на нервах, у танцпола, кривит нос и произносит голосом, который Дотти позаимствует у Марлен Дитрих: “Никто тут, на самом-то деле, не веселится, лапуля”.

– Ну, – сказала Дотти, – в этом-то как раз ничего сложного нет. Веселиться – самое легкое дело на свете, особенно для таких, как ты.

– Для таких, как я, – повторила Сьюзен.

Она думала о том, как возвратится этой ночью домой. Будет ли отец еще на ногах? Будет ли пьян? Как сможет она, униженная сегодня, хоть когда-нибудь сказать ему “нет”? И как сможет сказать, хоть когда-нибудь, “да”?

Вернулся, исполнив какой-то очередной свой долг, Тодд.

– Привет, Суз, – сказал он. – Приветик, Дотти.

– Приветик, Тодд, – ответила Дотти весело и насмешливо.

Ее терзала, ее взвинчивала зависть, и сами усилия Дотти казаться оживленной, веселой, беспечной проедали ее плоть почти до кости.

– Может, выйдем на минутку, Суз? – спросил Тодд. – Такая хорошая ночь, я бы с удовольствием плотнул свежего воздуха.

– Пойдем, – ответила Сьюзен. – До скорого, Дотти.

– До скорого, – повторила Дотти. Уходя с Тоддом, Сьюзен сознавала, что Дотти уже побежала искать кого-нибудь, кому она сможет поведать свежую новость. “Никто тут, на самом-то деле, не веселится, лапуля”.

Сьюзен с Тоддом вышли на примыкавший к кафетерию квадрат асфальта, отведенный для покидавших танцы учеников. За этим безжалостно освещенным квадратом различались средники окон спортивного зала, а за его громадой – темное футбольное поле. В круге ослепительного света шепталось несколько парочек. При появлении Сьюзен и Тодда они слегка взволновались. Некий амбициозный ученик младшего класса оставил свою подругу, чтобы пожать Тодду руку и обсудить с ним возможный исход предстоящих выборов президента следующего года.

– Примите мои поздравления, Сьюзен, – добавил он под конец разговора.

Сьюзен поблагодарила его. Темно-красные полоски ее капитанской фуфайки поплыли в слепящем воздухе, когда Тодд, отвязавшись от мальчишки, повел Сьюзен к дальнему краю квадрата. За ним в мягкой темноте вспыхивали и гасли кончики сигарет. Обрывки туч пронеслись по лику луны.

– Какая ночь, – произнес Тодд.

– Ммм. Сказать по правде, я рада, что все почти закончилось.

Тодд помолчал. Он хотел что-то сказать ей. Сьюзен подумала: “Если он полезет ко мне с заученной утешительной речью, я с ним порву”. Впрочем, она надеялась, что Тодд этого не сделает. Она и так готова была сорваться на вопль.

– Суз? – произнес Тодд. – Сьюзен?

– Да?

Она надменно покривилась. Сейчас Тодд посоветует ей относиться к случившемуся как к полезному уроку, благодарить Бога за то, что он дал ей возможность закалить характер. И Сьюзен снова подумала о Марсии, которую теперь дразнили “принцессой”. О Марсии, уходившей в мир свободной и сильной.

– Понимаешь, – сказал Тодд. – Я тут думал кое о чем.

– Мм?

– О следующем годе. Ну, ты знаешь. Мы с тобой подали документы в разные колледжи. И что-то менять теперь уже поздно.

– Я знаю.

– А мы как-то и не поговорили об этом.

– Верно. Не поговорили.

– Вот я и подумал, Сьюзи. Куда бы я ни отправился, в Йель там или в Принстон, я хочу, чтобы ты была со мной.

Лицо Тодда покраснело, в глазах его появилось страдальческое выражение, на них даже слезы навернулись. Таким взволнованным она его еще не видела – разве что во время секса. И Сьюзен вдруг захотелось помочь ему стать прежним, найти обратную дорогу к себе.

– Ты о чем говоришь? – негромко спросила она.

– Ну, не знаю. Наверное, о том, что нам следует пожениться. Тебе и мне. Я хочу взять тебя в жены.

Кровь ударила Сьюзен в голову. И мысль в голове ее осталась только одна: “Вот это и случилось, только что”. Ей сделали предложение. Тодд сделал ей предложение – сейчас, у школьного кафетерия, в ночь ее поражения. А следом пришла другая мысль: “Я еще не готова. И произойти это должно было не здесь”.

– Ах, Тодд, – сказала она. – Я не знаю.

– Не знаешь, хочешь ли выйти замуж? Или не знаешь, хочешь ли выйти за меня?

– Вообще-то, и то и другое. Нет, забудь об этих словах. Я просто... ну, а разве мы *можем*?

Она и сама не поняла, о чем, собственно, спросила. Наверное, ей хотелось услышать, что из такой девушки, как она, может получиться хорошая жена. Хотелось понять, сможет ли Тодд стать хорошим мужем.

– В общем-то, да, – ответил Тодд и натужно улыбнулся. – Можем, если ты этого хочешь.

– Мой отец... – произнесла она.

– Я знаю, он человек старомодный, – сказал Тодд. – Я поговорю с ним. Я буду очень...

И тут Сьюзен поняла, какой ответ ей следует дать. Поняла, как следует поступить.

Она сделает шаг в будущее, пусть и неясное. Этой же ночью она и Тодд придут в ее дом и объявят о своей помолвке. И тогда она сможет говорить на языке, который позволяет сказать “нет”. У нее появятся средства защиты.

– Мы можем, – сказала она. – Да. Вот уж что можем, то можем, правда?

– Конечно, – ответил, ласково усмехнувшись, Тодд. – Абсолютно и положительно можем.

Его осанка, эта прямая спина. Его прямолинейная, наторелая тоддовость.

– Мы можем сделать это, – повторила Сьюзен. – Да, конечно. Давай поженимся.

– Правда? Ты правда хочешь?

– Да. О да. И сразу же.

– Как это?

– Ну, сразу после выпускного вечера. Я спрячу вуаль под академическую шапочку, мы получим наши дипломы и прямым ходом направимся в церковь.

– Смешная ты, – сказал Тодд. – Тебе это известно? Ты такая смешная.

1969

Мэри записала на конверте, в котором пришел телефонный счет: “Больше я красть не буду”. Дала письменный обет. Тем не менее красть она продолжала, хоть и не понимала – зачем. Она хорошо помнила самую первую кражу, совершенную ею в “Энглхартсе”. Мэри понадобились пригласительные карточки для свадьбы Сьюзен, и она зашла туда, в отдел канцелярских товаров, посмотреть, найдется ли что-нибудь приличное или ей со Сьюзен придется ехать в Нью-Йорк. Продавщица, молодая и предположительно хорошенькая – если бы удалось смыть с нее тональный крем, – показала Мэри образцы. Заурядный кремовый цвет, светло-голубой, желтоватая слоновая кость, еще один, невзрачный, в цвет автобусного билета. Каемочки из лилий, голубков, прозрачных белых колоколов. Нет, от “Энглхартса” проку не будет. Придется все-таки съездить со Сьюзен в город. Мэри поблагодарила продавщицу, сказала, что ей нужно подумать. Поднимаясь с кресла у прилавка, она прекрасно сознавала, какое впечатление производит: привлекательная женщина сорока без малого лет с добротной темно-синей сумкой в руках, грациозно отвергающая все, что предлагают ей продавщицы вроде вот этой – девушки, заурядная миловидность которой износится быстро, вместе с молодостью. В молодые годы Мэри видела женщин, таких как она, нынешняя: хорошо обеспеченных жен, которые благодушно, но твердо отказывались делать покупки в ближайших к их домам магазинах. Переходя канцелярский отдел, чувствуя, как прозрачный атлас ее комбинации с текучей легкостью облекает нейлон чулок, Сьюзен видела всю себя с такой ясностью, точно стояла где-то в стороне, точно была продавщицей, смотревшей, как статная, состоятельная женщина, которая восхитительно обертывает все свои подарки, покидает магазин, торгующий товарами не самого лучшего качества. Сердце Мэри пело, она ощущала спокойное, мерцающее удовлетворение, которое поднялось в ней, подобно волне, и тут же с быстротой, с какой разбивается об пол тарелка, сменилось неуверенностью в себе. Ее старшая дочь, признанная красавица, выходит замуж за красивого молодого человека, который вскоре отправится в Йель. Вырастить такую дочь – значит одержать настоящую победу, и однако же, как ни радовала она Мэри, удача Сьюзен, казалось, чем-то принижала ее. Мэри не давала покоя мысль о том, что, когда они вместе выходят на люди, она выглядит на фоне дочери какой-то подделкой. К тому же она подозревала, что Сьюзен находит ее жалкой и отчасти смешной. И Мэри напоминала себе, виновато, но с удовольствием, что королевой-то Сьюзен все же не выбрали. Приближаясь к выходу, она услышала, как продавщица закрывает книгу с образцами; услышала увесистый, глухой хлопок обложки. И остановилась, чтобы взглянуть на записные книжки с алфавитом, – ей вдруг пришло в голову, что Билли уже в том возрасте, когда такая ему может понадобиться. Записные книжки в “Энглхартсе” продавались и вовсе второсортные, с обложками из искусственной кожи, склеенные кое-как. Мэри стояла, хмуро разглядывая одну из них, в переплете из темно-красного пластика с тисненым позолоченным словом “Адреса”, последнее “а” которого уже начало облезать. Вещица была столь неказистой, настолько недостойной Мэри, что даже брать ее в руки и то представлялось глупостью. Мэри огляделась по сторонам, убедилась – никто на нее не смотрит, и, почти не успев понять, что делает, сунула книжицу в сумку.

Лоб ее горел. Спокойно и естественно, она – высокие каблуки, жемчужные серьги – вышла из магазина, унося в сумке жалкую записную книжечку с прилепленным к ней ценником. Ценник, когда Мэри взглянула на него, сообщил, что стоит ее добыча девяносто девять центов.

Она не понимала, почему сделала это. Жуткая записная книжка была ей ничуть не нужна. О какой-либо корысти и речи идти не могло, порыв Мэри был скорее родственен любви к чистоте и порядку. После кражи она ощутила нервное облегчение, как если бы ей предстояло пережить некую неприятность – прегрешение даже, – однако все обошлось. Правда, теперь у нее на руках оказалась записная книжечка, вещь решительно никчемная, и что с ней делать, Мэри не знала. Отдать ее Билли она не могла, однако и просто выкинуть, как вскоре выяснилось, не могла тоже. Слишком многим рискнула она ради этой книжонки. Мэри оторвала ценник и засунула ее в ящик комода, решив, что, может быть, со временем отдаст кому-то. Рано или поздно, а на что-нибудь эта пустяковина да сгодится.

С того дня Мэри наворовала множество другой ерунды и при каждой краже ощущала все то же прихотливое удовлетворение – такое, точно она рисковала собой, чтобы создать в мире чуть больше чистоты и порядка. Воровство было лишь мелкой частностью ее жизни. Оно занимало примерно такое же внутреннее пространство, какое могло занимать скучное хобби или перечитывание, время от времени журнала “Нэшнл джиографик”, внушавшего сразу две мысли: во-первых, на земле существуют уголки несказанно удивительные, а во-вторых, в конечном-то счете все они более-менее одинаковы. Мэри с головой ушла в приготовления к свадьбе Сьюзен, которые требовали от нее решений по несчетному числу вопросов, – вплоть до того, как должны выглядеть розовые бутончики на свадебном торте. Приготовления были настолько сложными и так перегрузили ее легкие, что, в конце концов, Мэри пришлось обратиться к своему врачу, попытаться выяснить, все ли с ней в порядке, – в результате она получила рецепт на приобретение блекло-желтых пилюль. Одну из них Мэри приняла перед самым венчанием и даже удивилась, когда, увидев Мэри с Тоддом замершими у алтаря, ощутила вдруг прилив гнева, оказавшегося достаточно острым для того, чтобы пронзить пелену созданного пилюлей приятного отупения. Гнев был совершенно беспричинным – просто нервы, говорила она себе потом, – и, похоже, имел какое-то отношение к белому платью Сьюзен, к спокойствию красивого квадратного лица Тодда, наклонившегося, чтобы поцеловать ее. Нервы, думала Мэри, ну и всегдашний страх за счастье дочери, питаемый матерью, которая по опыту знает, сколь многое может губительно сказаться на этом счастье.

Свадьба получилась безукоризненная, если, конечно, не считать гостей. Разумеется, не пригласить тех, с кем работал Константин, было никак нельзя, а они в большинстве своем оказались горластыми мужланами в дешевых, давным-давно вышедших из моды костюмах, да еще и привели с собой жен: одни забитых, другие крикливых, но одетых все до единой бог знает во что. Мэри, прибегнув к помощи отца Тодда, арендовала бальный зал загородного клуба и украсила его – украсила образцово – вазами с белыми лилиями и, то была главная деталь убранства, чайными розами. Она же выбрала обслуживающую всякого рода торжества фирму, которая поставила на свадьбу курятину, канадский рис и стручковую фасоль “по-французски” с толченым миндалем – все это на более чем две сотни гостей. Она не совершила ни одной ошибки, а в итоге по ее кремово-белому залу разгуливали орава десятников, которых и на работу-то нанимали лишь за присущее им умение запугивать людей настолько, что те строили дома как можно быстрее и как можно дешевле. И жены их были им под стать – бесцеремонные, в кричащих платьях, с чрезмерным обилием украшений, с начесами, торчком стоявшими на их головах. Мать и две тетушки Тодда подстрижены были просто, “под пажа”, а платья носили однотонные. Мэри, увидев их, ощутила стыд за свои собранные на затылке в овальный пучок волосы, за матово-розовое платье – и безмолвно поблагодарила Бога за то, что решила все-таки обойтись без оборок на лифе. Танцует с Билли, стройным, но каким-то неловким в его

синем габардиновом костюме, она наблюдала за Сьюзен, разговаривавшей, смеясь, с двумя подружками невесты, и ей казалось, что Сьюзен удалилась в какую-то чужую страну, где все девушки безыскусно стройны и прекрасны, а перед мальчиками открывается будущее, надежное и крепкое, как подвесной мост. И чувствовала, как сквозь созданную пилюлей приятную душевную тишь пробиваются всплески эмоций, которые могли быть гневом, а могли и страхом. Она не желала ни того, ни другого, тем более в такой день. И старалась сосредоточиться на красоте своей дочери, на ее непринужденности и обаянии. Что же, по крайней мере, *этой* ничто уже не грозит. Промурлыкав вместе с оркестром несколько тактов “Начала танца”, Мэри сказала Билли:

– Похоже, свадьба удалась.

– По-моему, все они удаются, нет? – ответил Билли. – То есть у тех, кому действительно хочется стать мужем и женой.

– Если бы в счет шло только это желание, они могли бы просто-напросто заглянуть к мировому судье и сберечь твоему отцу пять тысяч долларов.

– Да брось ты. Неужели этот сабантуй обошелся в пять штук?

– Ты бы сильно удивился, узнав, каких затрат он стоил. Вы, дети, ни малейшего представления об этом не имеете.

Билли присвистнул.

– Пять штук, – повторил он. – За одну попойку.

– Вот когда женишься ты, – сказала Мэри, – твоему отцу тратиться не придется. Платить за все будет семья твоей жены.

– Когда женюсь я, – ответил он, – мы просто-напросто заглянем к мировому судье. А если кому-то придет охота раскошелиться на пять штук, так мы на них лучше год в Европе проведем.

– У девушки, которую ты возьмешь в жены, могут оказаться другие желания.

– А я не возьму в жены девушку, у которой окажутся другие желания.

Танец закончился, Билли повел ее обратно к столу. Мэри шла, держась за локоть сына, розоватые туфельки ее холодно-ватно светились на индиговом ковре бальной залы, точно цветы мяты. Это был ее сын, уже вставший на путь, который ведет в Гарвард. Мэри ясно сознавала, как он вырос, какими большими стали его руки. Она так любила его. Он все еще оставался ее ребенком, самым умным из ее детей, обещающим так много, с так сильно попорченной прыщами кожей, что лишь увеличивало страшную силу ее любви. Билли казался ей и бесплотным, и мучительно земным. Только он, единственный из ее детей, страдал от обид и гордыни, которые ей удавалось читать как по писаному.

В ту ночь она, уже облачившись в ночную сорочку, лежала в постели и наблюдала за раздевавшимся Константином. Его тело, одрябшее, густо поросшее волосом, пробуждало в ней нежность, имевшую почти такое же отношение к чувствам материнским, какое и к любовным. Муж мог быть ее старшим сыном, упрямым, непокорным, неуправляемым. Она могла относиться к нему с любовью более-менее, если думала о нем, как о непутевом мальчишке, причиняющем время от времени вред тем, кто его окружает, подверженном вспышкам дурного нрава, но обладающем честным сердцем, которое переживет его ребячливую необузданность. К зрелым годам Константин и вправду обзавелся своего рода ребячливостью, и Мэри жила рядом с ним, как с мальчиком, толстым и вздорным. Раздевшись до трусов, он присел на край кровати и произнес:

– Ну, вот она и уходит. Замужняя женщина.

– Угум, – Мэри все еще пребывала на краешке легкого, воздушного мира, созданного желтой пилюлей.

– Замужняя, – повторил Константин.

– По-моему, свадьба прошла хорошо, правда? – сказала Мэри. – Оркестр внушал мне некоторые сомнения, но в целом все, кажется, сложилось удачно.

Константин, ничего не ответив, встал, натянул пижамные штаны. Он немного перебрал на свадьбе, и потому движения его отличались сейчас продуманной осторожностью, впрочем, Мэри думала не об этом. Она думала об устроенной ею свадьбе, о приеме на две с лишним сотни персон и о том, как старалась не позволять себе волноваться по поводу сопровождавших его неприятных эпизодов – малопрстойного тоста, произнесенного партнером Константина, перепалки одного из десятников с его супругой в осыпанном цветками фуксии платье. И старалась не думать также о будущих свадьбах подружек Сьюзен, семей которых почти не знала, потому что была итальянкой, женой грека-строителя. Из гостей Тогда не напился никто.

– Вот без чего бы я обошлась, так это без тоста Ника Казанзакиса, – сказала она.

– Ник молодчина, – ответил Константин. – Ну, любит иногда пошутить. Он же никого не задел.

– Задел – Бетти Эмори. Я сидела с ней рядом. И видела, как она поджала губы.

– Да и хрен с ней, с Бетти Эмори. У этой бабы, судя по ее виду, кол в заднице торчит.

– О, замечательно. Очень изящный отзыв о леди. Я тебе одно скажу – она *настоящая* леди. Чего не скажешь о половине сегодняшних женщин.

Константин забрался в постель. Запах спиртного мешался с его, хорошо знакомыми Мэри, персональными запахами.

– Давай не будем ссориться, – сказал он. – Хотя бы сегодня.

– Очень хорошо. С превеликим удовольствием обойдусь без ссоры.

Он натянул одеяло на грудь. Какое измученное у него лицо, подумала Мэри, какое усталое. Он стареет.

– Сегодня была свадьба нашей дочери, – сказал Константин.

– Да.

– И теперь она миссис Эмори. Сьюзен Эмори.

– Я знаю.

Мэри выключила свет. В темноте начали неторопливо проступать отдельные детали обстановки: половинка туалетного столика Мэри с его овальным зеркалом, ближняя к кровати ножка шезлонга, в котором никто никогда не сидел. Стало слышным тиканье стоявших на столике у кровати часов. А следом возник и еще один звук, странный, – поначалу Мэри решила, что он доносится с улицы, но потом поняла: это плачет, отвернувшись от нее, Константин. Она приложила ладонь к его спине, расчерченной широкими полосками пижамы.

– Кон? – сказала она. Муж не ответил. – Кон? Как ты себя чувствуешь?

– Хорошо, – сдавленно отозвался он.

– Что с тобой, Кон?

– Ничего.

– Ну как же ничего?

Прошла наполненная звуками плача минута. Вся моя жизнь, думала Мэри, протекает не во мне, а снаружи меня. И я ничего о ней не знаю.

Наконец Кон произнес:

– Не могу поверить, что она и вправду ушла.

Эти слова наслали на него новую волну рыданий, и звучание их казалось не вполне человеческим, похожим скорее на треск, с которым рвется мокрая бумага. Мэри ощущала и сострадание к нему, и, пожалуй, в той же мере раздражение.

– Сьюзен не ушла, – сказала она. – Просто у нее началась своя жизнь. Да и Нью-Хейвен не так уж далеко отсюда.

– Она ушла, – ответил Константин. – Она больше не наша.

– Так ведь она уже долгое время не была полностью нашей, верно?

– Она была моей, – произнес Константин.

Мэри поняла. И отогнала от себя эту мысль.

– Ты просто устал, – сказала она. – И выпил лишнего. Встанешь утром, и все будет хорошо.

Он повернулся к ней. Искаженное плачем лицо его казалось в темноте безумным, старым.

– Прощу тебя, – выдал он и протянул к ней руки, а когда она не приняла объятия, уткнулся ей в шею горячим, мокрым лицом и сказал еще раз: – Прощу тебя.

– Ты просто устал, – повторила она. – И выпил.

– Не только это, – ответил он. – О господи.

Он поцеловал ее в шею, взял за подбородок, прижался губами к ее губам. Они не любили друг дружку – сколько уже? – полгода? Больше? И *эта* ночь ночью любви не станет, во всяком случае для нее. Она давно начала понемногу выигрывать битву, которую вела со своими чувствами. И не один уже год чувствовала, как желание покидает ее, гаснет, словно свет в отходящем ко сну доме. Случались мгновения, когда на нее, лежавшую вот здесь, в постели, нападала паника. Так совершалась ее судьба, так будущее вшивало себя стежками в ее кожу. Другой жизни, отличной от этой, не будет. Ее чувства, сам ее страх стали, похоже, привычными ей – частью того, что она подразумевала, произнося слова “моя жизнь”. Ну так вот, сегодня она никакого желания что-то менять в своей жизни не испытывает. И уж не с Константином же, слезливым и пьяным, и не после такого трудного дня.

Она высвободила губы, сказала:

– Давай спать, милый. Утром тебе станет лучше.

– Я не могу заснуть, – пожаловался он.

– Можешь-можешь, – заверила она его тоном, каким разговаривала с детьми, пробудившимися от страшного сна. И в который раз подивилась прозвучавшей в ее голосе материнской убежденности. “Они верят мне, своей матери. Верят, что я знаю, о чем говорю”.

– Ты просто закрой глаза, – сказала она. – Даже опомниться не успеешь, а уже заснешь.

И к ее удивлению, он послушался. Тихо вернулся на свою половину кровати, словно назойливый мальчишка, жаждущий порядка, даже когда он твердит, будто ему хочется, чтобы в мире было побольше шума и треволнений. Мэри тихо лежала рядом, с материнской озабоченностью вслушиваясь в затихающие рыдания мужа. И только когда он заснул, на нее накатил ужас, столь могучий и невыразимый, что она выскочила из постели и приняла сразу три пилюли, дабы оделить себя непритязательным даром сна.

Мэри достала из ящика щетку для волос, дешевый браслетик, янтарный брусочек мыла. Она понимала: нужно остановиться. И утешила себя тем, что составила краткий список своих достоинств. Все, что она украла, было дешевым, и ни одной из этих вещей она ни разу не воспользовалась. А пока она ими не пользуется, они не смогут ее обличить. Сюзен присылала с Гавайев, где проводила медовый месяц, почтовые открытки, короткие, не содержавшие подробностей уверения в счастье, написанные почерком более замысловатым и взрослым, чем тот, какой помнила Мэри. Она прикрепляла их разными магнитиками к дверце холодильника. А украденные вещи складывала в ящик комода, подальше от глаз, пока запас их не приобрел сходство с приданным нищенки-невесты.

1970

Он называл это балетом автомобилей. В происходившем присутствовала такая же сила и грация, такое же музыкальное спокойствие. Над проселочными дорогами свисали ветви черных деревьев, столбы изгородей тянулись вдоль них, темные и торжественные, как надгробные камни. За деревьями и столбами спали под голубыми от лунного света кровлями фермеры.

Билли нравилось воображать тишину. И рисуя ее себе, он еще пуше влюблялся в то, что делали с ней фары машин, их музыка и моторы. Мимо пронеслись три опаленных золотым и серебряным светом ветви. Пыль вскипала, желтея под фарами, и, покраснев, уносилась назад. Обрывки их любимых песен вторгались в фермерские сны.

– Балет автомобилей! – крикнул он с заднего сиденья и высунул свои большие, еще и увеличенные башмаками, ноги в окно.

В такие мгновения ночи он ощущал, как перед ним разворачивается, похрустывая, новый мир любви и свободы. Иногда это была машина, принадлежавшая отцу Ларри, иногда – отцу Бикса. Иногда, в ночи особенно удачные, обе. Отец Ларри ездил на зеленом “шевроле-импала”, отец Бикса на “форде-гэлакси”. В “шевроле” ощущалась порода, однако “форд” с его плавным резиновым ходом позволял развивать скорость, от которой у Билли щемило в животе и началась эрекция. И он каждый раз надеялся, что сегодня им достанется “форд”.

– Быстрее, – сказал он. – Газани.

Голосом его говорила скорость. Он был самым маленьким, самым умным, внушавшим самую сложную любовь и ненависть. Радио играло “На высоте в восемь миль”.

– Чокнутый, – сказала Дина.

Она, как и Билли, сидела сзади, прижав свое большое колено к его костлявому. Пухлые губы Дины покрывала светло-розовая помада, брови ее были вычернены жирным карандашом. Башмаки у нее были повыше Билловых. Она называла себя королевой пиратов.

– Да, – согласился он. – О да. Я чокнутый.

Она потерялась своим коленом о его. И на Билли накатила давно знакомая ему нервозность, перенимавшее дух ощущение западни. Сидевшие впереди Бикс и Ларри по очереди прикладывались под рев музыки к бутылке водки. Иногда это была водка, иногда пиво – чем удавалось разжиться, то и пили. Как-то раз Дина сперла у отца бутылку *crème de menthe*⁴, и Билли с Ларри вызленили блевотиной целых три мили дороги.

– А что, мальчики, дамам здесь выпить не дают? – спросила Дина. Ларри протянул ей бутылку. Бикс сидел, вцепившись распрямленными руками в руль, безмолвный, смертоносно счастливый. В нем ощущалась некоторая подловатость. Ночь проносилась мимо с ее насекомыми, с чересполосицей оттенков черноты.

Дина глотнула водки, отдала бутылку Билли, оставив на горлышке вкус своей помады. Билли вглядывался в каштановые лохмы, украшавшие голову Бикса. Он наполнил рот водкой, ощутив ожог, подобие взрыва. И едва удержался, чтобы не завопить от восторга и счастья. Будущее все близилось, близилось.

– Балет автомобилей, – повторил он. – Пора исполнять фигуры высшего пилотажа.

– Какие? – спросил Ларри.

Кожа у него была хуже, чем у всех остальных, пареньком же он был незлобивым и простым. Делал друзьям подарки, о которых они не просили. Стригся под Кита Ричардса.

– Восьмерку, – сказал Билли. Он опустил ноги на пол, наклонился вперед, просунув голову между головами Бикса и Ларри. На приборной доске неярко светились круговые шкалы, цифры. Три древесных ствола пронеслись мимо.

– Восьмерку, – повторил Билли, отдавая Ларри бутылку. Бикс бросил машину к другому краю дороги, потом назад. Протестующе завизжали покрышки.

– Фигура “S”, – сказал Бикс. – Для разминки.

У Бикса был мозг солдата. Он целил собой в мир, точно торпедой.

– Совсем вы, мальчики, бутылку захапали, – сказала Дина.

⁴ Мятный ликер (фр.).

– Давай немного побесимся, – сказал Билли в ухо Бикса. Член его уже успел одеревенеть от скорости. Бикса он и любил, и побаивался. Низкая ветвь хлестнула по машине, точно огромное крыло.

– Ишь ты! – воскликнул Ларри.

– Девушка же может помереть от жажды, – произнесла Дина. Машина уже пропахла ее духами.

– Как? – спросил Бикс. И вернул бутылку Билли.

– Мы слишком долго катим по этой дороге, – ответил Билли. – Давай полетаем.

– Полетаем? Ты хочешь полетать?

– Да. О да.

– Ладно. Начали.

Бикс ударил по тормозам и резко вывернул руль. Машина влетела в канаву и сразу выскочила из нее. В лицо Билли ударили брызги водки. Под задней осью громко, как ломающаяся кость, треснул сучок.

– Ух! – сказал Ларри.

Машина подпрыгнула еще раз, упала на все колеса. Теперь они были в поле. Фары осветили его во всю длину, до вереницы тонких, испуганного вида деревьев.

Билли заулюлюкал. Дина взвизгнула:

– Что вы делаете?

– Восьмерку, – крикнул Билли. – Давай.

Он поднес бутылку к губам Бикса, наклонил ее. Водка полилась в рот и на рубашку Бикса. Бикс газанул, машина рванулась вперед, свет фар облил высокую, по колено человеку траву.

– Ну, улет, – сказал Ларри и лицо его расплылось в улыбке знатока и ценителя.

Дина положила ладонь на плечо Билли. На пальцах ее было шесть колец. Одни серебряные, другие пластмассовые.

– Где мы? – спросила она севшим от водки голосом.

– В космосе, – ответил Билли. – Летим.

Сидящий где-то далеко, посреди музыки и яркого света диджей поставил “Руби тьюзди”.

– Это же опасно, – сказала Дина.

– Знаю.

“Форд” шел по широкой дуге. В окна его врывались темнота и запах сырой травы. Оси машины бились о края рытвин, отчего подносить бутылку к губам было уже невозможно. Трава, деревья, клинья ночного неба мотались в свете фар. Билли хохотал, Дина тоже.

– Восьмерка, – сообщил Бикс с вкрадчивой безжалостностью пилота бомбардировщика. Сердце Билли подскочило в груди. И он сказал себе, что любит безумство движения.

– Да, – подтвердил он. И, поскольку приложить бутылку к губам Бикса было невозможно, плеснул водкой ему на макушку. Билли ощущал себя несущимся по самому краешку мира, в душе его расцветало терпкое счастье, летевшее слишком стремительно для обычной жизни. Только в гонке, только рискуя, можешь ты проникнуть в другое измерение, рассекающее пространство и время на тройной скорости.

Ларри напевал вальс “Голубой Дунай”:

– Да да да да, там там, там там.

– Жми! – вопил Билли. – Жми жми жми жми жми!

Корова появилась ниоткуда. Машина вошла во вторую петлю восьмерки – и вот, прошу любить, корова, черная с белым, огромная, как налетающий грузовик. Билли увидел ее поблескивающий черный глаз. Увидел, как она прянула белым ухом. И завопил. Ларри тоже. Бикс вывернул руль, машина с пронзительным механическим визгом словно бы сложилась, как карманый нож. В окна полетела сырая земля, мгновенно залепившая Билли глаза и рот. Машину занесло, потом она нырнула и встала – да так резко, что Билли бросило на переднее сиденье.

Он ничего не видел. Лишь почувствовал, как врезается лбом во что-то и не жесткое, и не мягкое. В голове его мелькнул обрывок сна: самум в пустыне и некто в темном плаще, бегущий по ней. Мик Джаггер пел: “Кто смог бы дать тебе имя?”.

Потом музыка смолкла и наступила тишина, влажная, ветреная. Билли поморгал, стер с глаз землю, поморгал снова. И понял, что лежит на животе, глядя вниз, на ботинок. Грубый коричневый ботинок. Бикса. Он повернулся на бок, взглянул вверх.

Бикс сидел за рулем, улыбаясь, по лицу его текла кровь.

– Дерьмо, – фыркнул он. – Сраная мать Божия.

Билли уже понял, что лежит поперек переднего сиденья, а голова его забила под приборную доску. Бикс и Ларри сидели на своих прежних местах, Дина помаргивала сзади, лицо ее выражало недоумение и благовоспитанность, какие появляются на лице человека, присутствующего при разговоре, тема которого ему непонятна.

– Авария, – сказал Билли. – Мы попали в аварию.

– Ничего себе.

– Дерьмо, – снова фыркнул Бикс. – Господи Иисусе.

Кровь струйками стекала по его лбу. На кончике носа висела гранатовая капля.

– Ты ранен, Бикс, – сообщил ему Билли.

– Правда?

– Черт, да из тебя кровища хлыщет.

– Да?

– Машина может взорваться, – сказал Билли. – Они же после аварии взрываются, так?

– Не знаю.

– Давайте выбираться из нее. Вперед.

Никто даже не шелохнулся, как если бы все поняли вдруг, что машина балансирует на краю обрыва и любое движение может свергнуть ее в пропасть. Руки Бикса лежали на руле, с залитого кровью лица его не сходила улыбка. Ларри смотрел перед собой с обычным для него выражением добродушного благоволения, Дина так и сидела сзади, учтивая и недоумевающая, точно прабабушка.

– Пошевеливайтесь, – сказал Билли. – Машина вот-вот взорвется.

Тут уж все повыскакивали в переменяющуюся ночь с успевшим осесть на землю смерчем грязи. Билли отбежал от машины на полдюжины шагов, обернулся. Дина поспешала за ним, Бикс и Ларри улепетывали в противоположном направлении. Машина стояла накренившись – нос в канаве, задние колеса в нескольких футах над землей. Вид у нее был и титанический, и жалкий.

– О господи, – выдохнула Дина. – Ты как, цел?

Билли кивнул:

– Просто башкой приложился немного. А вот Бикс ранен. Эй, Бикс!

Билли обежал машину, направляясь к Биксу и Ларри, стоявшим, упершись кулаками в бедра, в позах спокойных оценщиков случившегося.

– Невероятно, – произнес Ларри.

– Бикс, – сказал Билли. – Эй. Дай-ка мне взглянуть на твою голову.

Бикс не без некоторой почтительности – так, точно рана его была драгоценностью, – приложил ладонь ко лбу.

– Все нормально, – сказал он. – Об руль малость навернулся.

Он отнял руку ото лба, взглянул на свои скользкие от крови пальцы и улыбнулся.

– Полетали, – сказал он.

– Да уж, – согласился Билли.

Он стоял совсем рядом с Биксом. И чувствовал запах крови, смешанный с ароматом травы и хмельным запахом самого Бикса.

- Ты уверен, что у тебя все путем?
- Лучше не бывает. А ты как?
- Порядок. Шишку набил, небольшую.

Бикс все смотрел на окровавленные пальцы. Потом поднял ладонь ко лбу Билла и неторопливо нарисовал на нем кружок.

- Боевая раскраска, – сообщил он.

Лоб Билли вспыхнул. На нем кровь Бикса. По полю приближалась, белея, Дина, королева пиратов.

- Господи, – сказала она, подойдя. – Все целы? Что это было?
- Мы выжили, – ответил Балли. – Мы все выжили.
- Но разбили машину его отца, – сказала, указав на Бикса, Дина.
- Она не разбита, – возразил Бикс. – Бьюсь об заклад, мы сможем вытянуть ее из канавы.
- Секундочку, – сказал Ларри. И побежал к машине.
- Не надо, – прокричал ему в спину Билли. – Она же взорвется.

Бикс расхохотался. Следом хохот напал на Билли, а там и на Дину. Ларри забрался в машину и вылез наружу с бутылкой водки в руке.

- Здесь еще осталось, – крикнул он.
- Чудо, – произнес сквозь смех Билли.
- Гляньте-ка, – указала рукой вдаль Дина. Кольца ее тускло блеснули.

Ярдах в пятидесяти от них мирно стояла, наблюдая за ними, корова. Билли аж взвыл от смеха. Бикс ударил его по спине. Билли рухнул на траву, Бикс повалился на него. Билли услышал душок крови, свежий запах Бикса. И захохотал так, что трудно стало дышать. У него опять встало. Ларри глотнул водки и пустил бутылку по кругу. Когда она опустела, Бикс поднялся на ноги и запустил ее в корову. Бутылка не долетела до нее ярдов тридцать и разбилась о камень. Корова не шелохнулась.

– Ах ты ж! – взревел Бикс и, смочив обе ладони кровью, понесся к корове, визжа и размахивая руками.

Билли же, глядя на Бикса и на корову, ощутил приступ странного узнавания. Вот стоящая под безумным углом машина, музыка так и играет в ней, фары освещают канаву. Вот пятнистая корова и одетый в армейскую куртку бегущий Бикс, окровавленный и иступленный. То было не дежавю. Билли вовсе не казалось, что он уже видел это прежде. Нет, ему казалось, что оно ожидало его, это странное совершенство, и теперь, увидев всю картину, он обращается в кого-то нового, исключительного, покидает затянувшуюся сумятицу детства. Некая волна поднялась в его груди, и он, гикнув, понесся за Биксом. Земля под ногами была мягкой, неровной, Билли чувствовал: близится миг настолько истинный, что остается лишь с криком мчаться ему навстречу. Он нагнал Бикса, и тут корова развернулась, недовольно замычала и трусцой побежала от них. Он и Бикс погнались за ней, отчего корова перешла на неуклюжую, раскачивающую рысь, в которой, впрочем, настоящая спешка отсутствовала, была лишь инстинктивная потребность в движении, ставшем на время более быстрым. Билли и Бикс мчались за ней, вопя, пока вдруг, в удивительном согласии, не остановились оба в один и тот же миг и не обратили свои вопли друг к другу. Лицо Бикса, поблескивавшее, все в подтеках крови, казалось одичалым. Они вопили, и внезапно совершилось невидимое событие. Мощный дуговой разряд любви соединил их, потрескивая. Билли умолк. Он стоял, онемелый, испуганный. Бикс смотрел на него без какого ни на есть выражения, лицо его мгновенно стало пустым и тупым, точно у статуи. А затем он повернулся и побежал к машине. Билли одиноко стоял в траве, ощущая, как в нем клубятся страсть и страх. Бикс успел убежать довольно далеко, Билли припустился следом, душа его жаждала всего, что еще может случиться. Подлетев к Дине и Ларри, оба ненадолго пустились в судорожный, ликующий пляс. Радио играло “Зажги мой огонь”. Этот миг заполнил собою все. И казалось почему-то, что они одержали своего рода победу.

Когда песня закончилась, все уселись в траву. Стрекотали сверчки, диджей поставил “Благовония и мяту”. Билли притронулся к своему лбу, кровь Бикса уже подсохла.

– Нужно вытащить машину, – сказал Бикс.

– Думаешь, сможем? – спросил Билли.

– Да.

Какое-то время все молчали. Сидевшая рядом с Билли Дина выдернула из земли пук травы. Билли смотрел на Бикса, безмолвного, неумного и по-солдатски сдержанного. Сердце Билли словно вздувалось. Он был готов ко всему, к любым страданиям и утратам.

– Мы летали, – сказал он и удивился тонкости своего голоса.

Он сознавал, что над ним висит небо, – бледные звезды, красные огни самолета. Настоящее начинало съеживаться, усыхать. Посвистывающее, ветренное нигде ожидало скорого своего возвращения.

– Летали, мать его, – снова сказал Билли.

Бикс встал. Прямые плечи, грациозная, грузная осанка. Он стоял так, точно карманы его были набиты камнями.

– Пошли, – сказал он. – Вытащим эту дурацкую колымагу.

Навалившись на передние крылья, они, как и предсказывал Бикс, сумели вытолкать машину из канавы. Он сел за руль, включил, хоть и не с первой попытки, двигатель. Повреждений не было. Вернулось, да так и осталось с ними спокойствие. Что-то закончилось, по крайней мере на эту ночь. Повреждений не было. Ларри сел впереди, Билли и Дина сзади. Бикс вывел “форд” обратно на дорогу.

– Ну и ночка, – сказал Билли.

– Улет, – согласился Ларри.

Бикс и Дина промолчали. Билли почувствовал, что еще не готов к нигде.

– Надо бы подновить мою боевую раскраску, – сказал он и, протянув руку, коснулся крови на щеке Бикса.

Тот отбил его руку костяшками кулака. Удар зацепил подбородок Билли, заставив его резко откинуть голову назад. Машина вильнула к другому краю дороги.

– Бикс, – удивилась Дина. – Что на тебя нашло?

– Не трогайте меня, – ответил Бикс. – Я не хочу, чтобы меня трогали.

– Ты как, Билли? – спросила она.

Ее колено прижалось к его. Билли колено оттолкнул.

– Прекрасно, – ответил он. – Не лезь ко мне.

Спокойствие стало окончательным, но пока в нем, в Билли, пульсирует боль, он еще пребывает хоть где-то. Играло радио. Билли, держась ладонью за подбородок, выставил ноги в окно машины. Сердце его колотилось от любви столь страшной, что предобморочно кружилась голова. Машина неслась по дороге, Билли смотрел на пролетавшие мимо ветви деревьев. И чувствовал, как в кожу его въедаются духи Дины. Бикс молчал, Билли мягко водил кончиками пальцев по нижней челюсти, поглаживая ссадину так, точно она принадлежала кому-то другому, кому-то, кого он обожал. Машина ворвалась в сразу же начавшее разрастаться где-то. Билли не сомневался, что смог бы ехать вот так всю ночь.

Когда он вернулся домой, сверху просачивался на лестницу слабый, нерешительный свет. Он старался передвигаться как можно тише, однако башмаки его для того и созданы были, чтобы производить побольше шума. В этом состояло их назначение.

– Билли? – приплыл сверху вместе со светом голос матери.

Он замер на площадке лестницы, втянул сквозь зубы воздух.

– Да, ма.

“Пропусти меня в мою комнату. Все, чего я хочу, все, в чем нуждаюсь, это темнота и покой”. Он поднялся по лестнице и уже прошел половину коридора, когда из своей комнаты выступила и остановила его полной заботы улыбкой мать, казавшаяся в ее розовом халате пухленькой и словно светящейся.

– Уже поздно, – сказала она.

– Знаю. Знаю, что поздно.

Он стоял посреди коридора в башмаках и кожаной куртке, не глядя на мать. Понимал, что от него несет водкой и коровьим навозом. И что на лице его кровь.

– Видел бы ты себя, – сказала мать. – Чем занимался?

– Да ничем особенным, – ответил он.

Лучше бы у него была такая же мать, как у Бикса, только и знавшая, что бродить с коктейлем по комнатам. Не нуждавшаяся ни в чем, кроме “Кента”, шотландского виски и собственной ожесточенной, умудренной персоны.

– А что у тебя со лбом? – спросила она. – Ты поранился?

– Нет. Целехонек. И хочу спать.

Она попыталась дотронуться до его лба, но он отшагнул назад, стукнув тяжелыми подошвами. Впрочем, за рукав она его все же поймала. У Билли сдавило грудь, и он снова втянул в себя воздух сквозь сжатые зубы, вдохнуть по-настоящему почему-то не удалось. В последнее время на него нападали такие приступы удушья, впрочем, он никому о них не говорил. Просто подозревал, что у него рак легких.

– Студенту Гарварда так вести себя не подобает, – веселым шепотком сообщила мать.

– Я не студент Гарварда, ма.

– Ты станешь им в сентябре, Билли. Ты хоть понимаешь, как сильно ты отличаешься от всех остальных? И сколько с тобой еще всего случится?

– А может, я и не хочу учиться в Гарварде?

– Не говори глупостей. Ты в это столько труда вложил.

– Я пока никому о Гарварде не говорил. Ни Биксу, ни Ларри, никому. Никто ничего не знает.

Она подступила поближе к нему. От нее пахло сном, пудрой и чем-то еще, неясным, но вкрадчиво сладким, напугавшим его.

– Бикс и Ларри, – повторила она. – Ты бы с ними поосторожнее был. Слышишь? Бикс и Ларри – они же практически не кто иные, как малолетние преступники.

– Да. Но это мне в них и нравится.

– Милый, – произнесла мать, и шепот ее стал более низким, резким, настойчивым. – Что тебя мучает? Что с тобой?

– Ничего меня не мучает, – ровным тоном ответил он. – Я устал. И хочу спать.

– Ты изменился, – сказала она. – Стал совсем другим мальчиком. Я теперь и не знаю, кто ты.

Ему хотелось протянуть руки, вцепиться ей в волосы и сказать – но что? Новый мир уже близок, а ей придется остаться дома. Он простоял с мгновение, обуянный любовью и гневом, окруженный тусклым невдыхаемым воздухом, желающий коснуться ее в последний, как ему сейчас казалось, раз.

– Все верно, – сказал он. – Я стал другим. Прежнего больше нет.

1970

Ну ведь приказал же Константин, и приказал строго-настрога: не мешать ему ни под каким видом. Тем более когда у него Боб Напп. Этот напаявшийся сегодня рубашку в красную полоску толстяк был одним из самых сволочных инспекторов округа. Наппу следовало

угождать, вести с ним долгие разговоры. Обхаживать его, как девицу, льстить, а затем вдруг сунуть в руку деньги – и проделать это с таким же вкрадчивым, показным безразличием, с каким школьник опускает ладонь на грудь одноклассницы. Тут требовалось актерское мастерство и, если ты терял в самый важный момент темп, то полностью терял и Наппа. Константину случалось видеть, как это происходит. Жизнь Наппа протекала в апатичной агонии смешанных чувств и, если кто-то прерывал разговор с ним, он вполне мог вытащить свои грузные тела из кресла и уйти с пустыми руками, а на следующее утро приехать на стройку – остроглазым, посапывающим – и начать сыпать ссылками на законы и акты.

И потому, когда Сэнди приоткрыла дверь кабинета и, явно нервничая, всунула в него голову, Константин подумал: “Ну все, ей конец”. Уволить ее сию же минуту, в присутствии Наппа, он не мог. И потому лишь насупился и резко произнес:

– Я же сказал вам, Сэнди. Не прерывать. Сказал или нет?

– Простите, мистер Стассос. Я знаю. Просто, ну... звонят из полиции. Говорят, по важному делу.

Константин с шумом втянул в себя воздух, попахивавший сосновым освежителем и потом Наппа. Полиция. Может быть, что-то случилось со Сьюзен, жившей теперь вне пределов его покровительства? Или с Билли, снова гонявшим на машине со своими дружками? Мир полон опасностей. Народи детей, и ты сведешь пожизненное знакомство со страхом.

– Спасибо, Сэнди, – сказал Константин.

Он неуверенно протянул руку к стоявшему на его рабочем столе телефонному аппарату, потом взглянул на Наппа. Если новость плохая, не стоит выслушивать ее в присутствии этого жирного недоумка. Губы у Наппа были толстые и крапчатые, точно сосиски. Он носил рубашки с широким воротом и никогда не застегивал три верхние пуговицы, выставляя напоказ, как нечто редкостное и прекрасное, волосатые складки своей груди.

– Мне все равно пора идти, – сказал Напп. – Можете меня не провожать.

Константин кивнул.

– Увидимся завтра утром, Боб, – сказал он и с отчетливостью, за которую впоследствии очень себя презирал, подумал о том, что этот звонок обойдется ему в целое состояние, съеденное штрафами за допущенные им нарушения. А Сэнди он все-таки выгонит, это уж точно.

Он подождал, пока Напп выберется из кресла и скроется за дверью. Затем нажал на аппарате кнопку.

– Константин Стассос, – сказал он. – Чем могу быть полезен?

– Мистер Стассос? – ответил мужской голос, невыразительный, размеренный. Таким мог разговаривать и сам телефонный аппарат.

– Да. Стассос. В чем дело?

– Я Дэн Фицджеральд из управления шерифа округа Нассау, мистер Стассос. Нам нужно, чтобы вы приехали в управление. Как можно скорее. Мы находимся в Минеоле, на Олд-Кантри-Роуд. Вам знакомы эти места?

– Так в чем дело-то? Кто-то из моих детей...

Он умолк. Таким голосом говорить нельзя, он обладает слишком большой властью над будущим. И прежде, чем этот голос успел зазвучать снова, Константин сказал:

– Я хочу поговорить с вашим начальством. Дайте мне сержанта.

– Мистер Стассос, если вы приедете в управление шерифа...

– Да говорите же вы, сукин сын. Говорите. С моей дочерью все в порядке?

Пауза, заполненная лишь легким потрескиванием телефонной линии. Отзвуки какого-то разговора. Женский голос произносит слова: “целыми днями”.

– Не уверен, что дело в вашей дочери, сэр, – произнес, запинаясь, голос мужской.

Константин решил, что ему, невесть по какой причине, позвонили в связи с чьей-то еще дочерью, которой он и не знает. Сьюзен, безмолвно взмолился он.

– Видите ли, сэр, – продолжал голос, – женщина, которую мы задержали, это ваша жена.

Из управления шерифа он и Мэри отправились домой, не произнеся дорогой ни слова. Константин довез ее до улицы, на которой она оставила свою машину, Мэри, молча, без единого жеста признательности, пересела в нее. Мэри выглядела опустевшей изнутри, необитаемой. Косметика ее размазалась, отчего лицо – злое, взбешенное – казалось немного подтаявшим.

Константин ехал за ней к дому, стараясь держаться поближе к скошенному багажнику ее “доджа дарта”. Уже не впервые, сказал полицейский. Они не стали бы арестовывать уважаемую женщину, если бы та всего лишь раз сунула в сумочку несколько дешевых вещей. Нет, за Мэри наблюдали уже не один месяц. Охрана магазина не хотела поднимать шум. Она закрыла глаза на две первых кражи, потом предупредила Мэри. “Мэм, по-моему, вы немного ошиблись. Уверен, вы спрятали эту расческу в сумочку машинально”. Но когда Мэри снова проделала это, ее арестовали.

Полицейские вели себя вежливо, даже смущенно. Это же Америка. Если ты чего-то достиг, зарабатываешь хорошие деньги, в твою невиновность хочется верить даже полиции. А Константина смущение полицейских напугало сильнее, чем могла напугать их неприязнь. Они считали, что Мэри следует показаться психиатру. Константин покивал, подписал документы, пожал руку человеку, который доставил его жену в тюрьму. Да и что еще ему оставалось?

Мэри свернула на подъездную дорожку, Константин последовал за ней. Войдя в дом, она остановилась посреди кухни, держа обеими руками плоскую сумочку и оглядываясь вокруг с таким недоумением, точно в этой привычной комнате кто-то вдруг переставил всю мебель.

– Мэри, – сказал, подойдя к ней сзади, Константин.

Одета она сегодня была хорошо, красиво – короткая темная юбка, зеленый жакет. Константин с удивлением обнаружил, что приглядывается к ее телу, к выпуклости бедер, к строгой симметрии обтянутых чулками ног.

– Нет, – отозвалась Мэри.

– Что “нет”?

– Я не знаю. И не хочу разговаривать. Впрочем, никакого права просить об этом я не имею, так?

Он услышал ее прерывистый вздох. Обошел ее, встал перед ней. Мэри плакала, хоть и стояла, выпрямившись и держа в руках сумочку. Дыхание давалось ей с трудом.

Он понимал, что должен злиться. Да он и был зол, он еще помнил это, однако злость сгорела где-то вовне его, и сейчас пожарище поблескивало на солнце и капли воды стекали с его углей. Константин же, похоже, способен был ощущать лишь недоумение и стыд – такой, точно он сам совершил преступление.

– Мэри, – повторил он.

– Прощу тебя, Константин, – сильным голосом произнесла она сквозь слезы. – Сейчас нам с тобой разговаривать не о чем.

– Одеколон, – сказал он, – кольцо для ключей, брусок мыла.

Она кивнула и сказала:

– Это для Билли.

– Как?

– Я думала о нем, когда брала их. Ох, Кон, я пойду лягу. Мне нужно просто полежать какое-то время в постели.

– Но почему? – спросил он. – Денег у нас хватает. Мы же могли купить все это. Сколько оно стоит? Десять долларов, пятнадцать?

– Думаю, около того.

– Тогда почему же?

– Я не знаю.

Константин смотрел на нее и видел ту девушку, какой она была когда-то. Видел ее беззаботную самоуверенность, великолепную резкую гневливость, захватывающую дух легкость, с какой она танцевала, вела беседу, подносила к губам бокал. Видел, что сейчас, стоя посреди кухни, она и была, и не была той же самой девушкой. Что-то в ней поникло, заглохло, что-то подточило ее крепкий остов. Но что-то прямое и непреклонное уцелело.

– Не понимаю, – сказал он.

– Значит, нас уже двое, – отозвалась она. – Может быть, тебе следует орать на меня, бить тарелки. Может быть, ударить. Хотелось бы знать, станет ли нам от этого легче.

– Мэри, я... мне очень жаль.

Она рассмеялась, неожиданно, с легким придыханием, словно задувая свечу.

– Столько лет, – сказала она. – И наконец-то тебя посетили сожаления...

Она остановилась на середине фразы, взглянула ему в глаза. Такого пустого лица он у нее еще не видел.

– Я лягу, – сказала она. – Поговорим обо всем утром. Я сделаю, что требуется, но сейчас я способна думать только о постели.

И Мэри вышла из кухни, не прикоснувшись к нему. Константин слушал, как она поднимается по лестнице, легко и твердо.

Константин налил себе виски, постоял, прикладываясь к стакану, посреди кухни. В стакане потрескивал лед, по циферблату новых, в форме чайника часов скользила, кружа, тонкая, красная секундная стрелка. Так он и наблюдал за собственной тихой жизнью дома, пока в парадную дверь не вошел Билли. Константин слышал, как сын пересекает прихожую, слышал отчетливое постукивание его подошв по плиточному полу, беззаботные звуки, которые могли бы создаваться копытами пони.

Билли вошел в кухню, полагая, что увидит в ней Мэри. А увидел Константина, и лицо его сразу изменилось.

– Привет, пап, – сказал он.

На нем была яркая, лилово-оранжевая рубашка с широкими, колыхавшимися на ходу рукавами. Уж не женская ли? – погадал Константин. Пряди спутанных волос Билли свисали до бровей, уменьшая его лицо, и все это, вместе с прыщавой кожей, придавало ему вид туповатого придурка.

Он прекрасно учится, напомнил себе Константин. Заработал стипендию Гарварда.

– Как делишки, Билл? – спросил он.

– Классно.

Билли открыл холодильник, заглянул в него, закрыл. Потом вытащил из банки похожее на сэндвич печенье, аккуратно надкусил его с краешка.

– Ты сегодня рано вернулся, – сказал он.

– Да, – ответил Константин. – Рано.

– А мама где? В городе?

– Мама легла. Не очень хорошо себя чувствует.

– О...

Константин пытался придумать, что бы такое сказать сыну, по-отцовски. Он отпил из стакана. И почти уж решив – что именно, услышал, как произносит:

– Если эти дурацкие волосы отрастут еще немного, ты перестанешь что-либо видеть.

– Не перестану, – ответил Билли. – У меня куча глаз понатыкана по всей голове.

Константин кивнул. Не может он не острить, не может не бросать на каждом шагу вызов отцу, не издеваться над ним. Константин знал, что любит его – какой же отец не любит сына? –

но хотел, чтобы он был другим. Хотел – вот сейчас – стоять со своим мальчиком посреди кухни, разговаривая об ускользящей красоте жизни, о вечных, сбивающих с толку разочарованиях, которые она преподносит человеку. Хотел помериться с ним силой, запустить в него со всей мочи футбольным мячом.

– Ты эту рубашку у сестры позаимствовал? – спросил он.

– Мне нужно идти, пап.

– Мы же разговариваем. Разве нет?

– Я должен заглянуть к Дине. Скажи маме, что я там и поужинаю, ладно?

– Я задал тебе вопрос.

– Я слышал. Это моя рубашка, пап. Мои волосы, моя рубашка, моя жизнь.

– Никто и не говорит, что это не твоя жизнь. Однако главный здесь все-таки я и потому имею право говорить о твоих волосах. Да и заплатил за эту пидорскую рубашку тоже я.

Билли стоял посреди кухни. Стоял, казалось, точно на том же месте, на каком стояла до него Мэри, плача и держа обеими руками сумочку.

– Вообще-то говоря, ты за нее не платил, – сказал он. – Я купил ее на свои деньги. Ради этого я и работаю в “Крогере” – чтобы не брать у тебя больше самого необходимого.

– Успокойся, – сказал Константин. – Совершенно ни к чему так распалиться.

– Ты не платил за эту рубашку, – повторил Билли, – но послушай. Я все равно собирался отдать ее тебе. Так я смогу рассчитаться с тобой за одну из тех, которые ты покупал мне, когда я был слишком мал, чтобы зарабатывать деньги. Как тебе эта идея?

Он начал расстегивать рубашку, расширяя с каждой пуговицей V, в котором виднелось костлявое, голубовато-белое тело.

– Билл. Ради всего святого.

Билли снял рубашку, протянул ее Константину. Грудь у него была как у скелета, обтянутого словно бы светящейся кожей с выступавшими на ней там и сям яркими красными гнойничками. Как может такой юный, стоящий на пороге мужественности мальчик, выглядеть таким больным и старым?

– Бери, – сказал Билли.

– Перестань, – ответил Константин. – Перестань сейчас же.

Билли уронил рубашку на пол.

– А как насчет ботинок? – спросил он. – Вот ботинки у меня дорогие. Их хватит, чтобы рассчитаться за две или три пары, которые ты купил мне, когда я пошел в школу.

Билли поднял тощую ногу и стал сдирать с нее высокий, закрывавший лодыжку ботинок. При этом он потерял равновесие, и Константин против воли своей рассмеялся. Впервые на его памяти он и жалел сына, и любовался им. Оказывается, сын был наделен и бойцовским духом, и резкой силой.

– Билл, – ласково произнес Константин. – Билли...

Сын все еще боролся с башмаком; Константин протянул руку, чтобы погладить его по нестриженным волосам. Не выпить ли им вместе? Биллу уже семнадцать, он достаточно взрослый для того, чтобы получить дома стопочку бурбона.

Ощувив прикосновение Константина, Билли отскочил от него, точно ужаленный проводом под током.

– Нет, – сказал он, и его передернуло.

Константин понял: Билли решил, что сейчас отец ударит его.

– Билл, – улыбнулся он. – Ну перестань, успокойся.

И протянул к сыну руку ладонью вверх – жест попрошайки, желающего доказать безобидность своих намерений.

Однако Билли, уже устыдившись своего испуга, отступил еще на два шага. Оставшийся на нем башмак громко пристукивал по полу.

– Я собираюсь расплатиться с тобой, – сказал он. – За все. За каждую вещь, которую от тебя получал.

– Ты ведешь себя как ненормальный, – ответил Константин.

Билли развернулся и заковылял, обутый в один башмак, назад, к парадной двери.

– И не смей со мной так разговаривать, – резко сказал Константин, однако за сыном не последовал. Не хватило духу. Он услышал, как открылась и закрылась входная дверь. А затем услышал, как в нее ударил ботинок Билли, ударил сильно. Вот тут уж Константин рассвирепел. Он бросился к двери, однако, распахнув ее, увидел лишь второй ботинок, бочком лежавший на ступени крыльца.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.